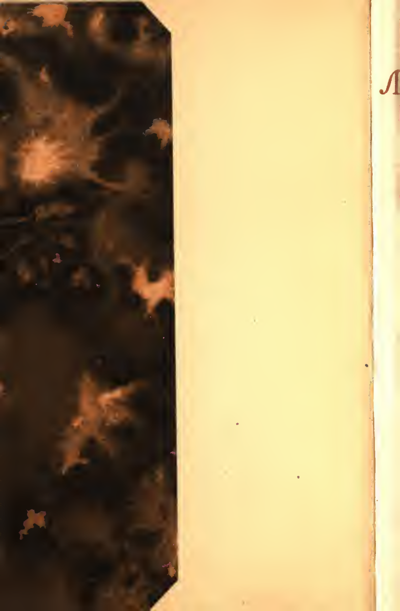

А.Ф.Прево
ИСТОРИЯ
КАВАЛЕРА ДЕ ГРИЕ
И
МАНОН ЛЕСКО




Прево
МАНОН
ЛЕСКО

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

Литературные Памятники



A.-F. Prévost

HISTOIRE
DU CHEVALIER
DES GRIEUX
ET DE
MANON LESCAUT



А.-Ф. Прево

ИСТОРИЯ КАВАЛЕРА ДЕ ГРИЕ И МАНОН ЛЕСКО

Издание подготовили М. В. Вахтерова и Е. А. Гунст

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Москва 1964


L'ABBÉ PREVÔT.

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ АВТОРА «ЗАПИСОК ЗНАТНОГО ЧЕЛОВЕКА»

Хотя я мог бы включить историю приключений кавалера де Грие в мои «Записки» [1], мне показалось, ввиду отсутствия связи между ними, что читателю будет приятнее видеть ее отдельно. Столь длинная повесть прервала бы слишком надолго нить моей собственной истории. Как ни чужды мне притязания на звание настоящего писателя, я хорошо знаю, что повествование должно быть освобождено от лишних эпизодов, кои могут сделать его тяжелым и трудным для восприятия,— таково предписание Горация:

Ut jam nunc dicat jam nunc debentia dici,
Pleraque differat et praesens in tempus omittat *.

Даже не нужно ссылки на столь высокий авторитет, чтобы доказать эту простую истину, ибо сам здравый смысл подсказывает такое правило.

Ежели читатели нашли приятной и занимательной историю моей жизни, смею надеяться, что они будут не менее удовлетворены этим добав-

---

* **Надо сегодня сказать лишь то, что уместно сегодня,
Прочее все отложить и сказать в подходящее время [2].
*(лат.)***

лением к ней. В поведении г-на де Грие они увидят злосчастный пример власти страстей над человеком. Мне предстоит изобразить ослепленного юношу, который, отказавшись от счастья и благополучия, добровольно подвергает себя жестоким бедствиям; обладая всеми качествами, сулящими ему самую блестящую будущность, он предпочитает жизнь темную и скитальческую всем преимуществам богатства и высокого положения; предвидя свои несчастья, он не желает их избежать; изнемогая под тяжестью страданий, он отвергает лекарства, предлагаемые ему непрестанно и способные в любое мгновение его исцелить; словом, характер двойственный, смешение добродетелей и пороков, вечное противоборство добрых побуждений и дурных поступков. Таков фон картины, которую я рисую. Лица здравомыслящие не посмотрят на это произведение как на работу бесполезную. Помимо приятного чтения, они найдут здесь немало событий, которые могли бы послужить назидательным примером; а, по моему мнению, развлекая, наставлять читателей [3] — значит оказывать им важную услугу.

Размышляя о нравственных правилах, нельзя не дивиться, видя, как люди в одно и то же время и уважают их и пренебрегают ими; задаешься вопросом, в чем причина того странного свойства человеческого сердца, что, увлекаясь идеями добра и совершенства, оно на деле удаляется от них. Ежели люди известного умственного склада и воспитания присмотрятся, каковы самые обычные темы их бесед или даже их одиноких раздумий, им не трудно будет заметить, что почти всегда они сводятся к каким-либо нравственным

рассуждениям. Самые сладостные минуты жизни своей они проводят наедине с собой или с другом, в задушевной беседе о благе добродетели, о прелестях дружбы, о путях к счастью, о слабостях натуры нашей, совращающих нас с пути, и о средствах борьбы с ними. Гораций и Буало называют [4] подобную беседу одним из прекраснейших и необходимейших условий истинно счастливой жизни. Как же случается, что мы так легко падаем с высоты отвлеченных размышлений и вдруг оказываемся на уровне людей заурядных? Я впал в заблуждение, если довод, который сейчас приведу, не объясняет достаточно противоречия между нашими идеями и поведением нашим: именно потому, что нравственные правила являются лишь неопределенными и общими принципами, весьма трудно бывает применить их к отдельным характерам и поступкам.

Приведем пример. Души благородные чувствуют, что кротость и человечность — добродетели привлекательные, и склонны им следовать; но в ту минуту, как надлежит эти добродетели осуществить, добрые намерения часто остаются невыполненными. Возникает множество сомнений: действительно ли это подходящий случай? И в какой мере надо следовать душевному побуждению? Не ошибаешься ли ты относительно данного лица? Боишься оказаться в дураках, желая быть щедрым и благодетельным; прослыть слабохарактерным, выказывая слишком большую нежность и чувствительность; словом, то опасаешься превысить меру, то — не выполнить долг, который слишком туманно определяется общими понятиями человечности и кротости. При такой неуверенности

только опыт или пример могут разумно направить врожденную склонность к добру. Но опыт не такого рода преимущество, которое дано в удел всем; он зависит от разных положений, в какие человек попадает волею судьбы. Остается, следовательно, только пример, который для многих людей и должен служить руководством на пути добродетели.

Именно такого рода читателям и могут быть крайне полезны произведения, подобные этому, по меньшей мере в том случае, когда они написаны человеком достойным и здравомыслящим. Каждое событие, здесь излагаемое, есть луч света, назидание, заменяющее опыт; каждый эпизод есть образец нравственного поведения; остается лишь применить все это к обстоятельствам своей собственной жизни. Произведение в целом представляет собою нравственный трактат[5], изложенный в виде занимательного рассказа.

Строгий читатель оскорбится, быть может, тем, что я в мои годы[6] взялся за перо, чтобы описать любовные приключения и превратности судьбы; но, ежели рассуждение мое основательно, оно меня оправдывает; если же оно ложно, ошибка моя послужит мне извинением.

Примечание[7]. По настоянию тех, кто ценит это маленькое произведение, мы решили очистить его от значительного числа грубых ошибок[8], вкравшихся в большинство его изданий. Кроме того, в него внесено несколько добавлений[9], которые показались нам необходимыми для полноты характеристики одного из главных персонажей.

Виньетки и гравюры не нуждаются в рекомендации и похвале — они говорят сами за себя.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Прошу читателя последовать за мною в ту эпоху жизни моей, когда я встретился впервые с кавалером де Грие: то было приблизительно за полгода до моего отъезда в Испанию[10]. Хотя я редко покидал свое уединение, желание угодить дочери побуждало меня иногда предпринимать небольшие путешествия, которые я сокращал, насколько то было возможно.

Однажды я возвращался из Руана, куда она просила меня съездить похлопотать в нормандском парламенте[11] о земельных владениях моего деда по материнской линии. Пустившись в путь через Эвре[12], мой первый ночлег, я собирался на другой день отобедать в Пасси, отстоящем от него на пять или шесть миль. При въезде в

деревню меня поразило смятение жителей; они выбегали из домов, стремясь толпой к дверям скверной гостиницы, перед которой стояли две крытые телеги. Вид лошадей, еще не распряженных и дымившихся от усталости и жары, показывал, что повозки только что прибыли.

Я задержался на минуту, чтобы осведомиться о причинах суматохи; но я немногого добился от любопытных поселян, которые, не обращая ни малейшего внимания на мои расспросы, продолжали, беспорядочно толкаясь, сбегаться к гостинице; наконец, появившийся в дверях полицейский с перевязью и мушкетом на плече по моему знаку приблизился ко мне; я попросил его изложить мне причину беспорядка. «Пустое дело, сударь,— сказал он,— тут находится проездом дюжина веселых девиц, которых я с товарищами сопровождаю [13] до Гавра, где мы погрузим их для отправки в Америку. Среди них есть несколько красоток, это, очевидно, и возбуждает любопытство добрых поселян».

Получив такие разъяснения, я уже готов был двинуться далее, как меня остановили крики какой-то старухи, которая выбежала из гостиницы, ломая руки и восклицая, что это варварство, что это гнусность, к которой нельзя остаться равнодушным. «В чем дело?» — обратился я к ней.— «Ах! сударь, войдите сюда,— отвечала она,— и убедитесь, что от такого зрелища сердце разрывается!» Влекомый любопытством, я спрыгнул с седла, передав лошадь моему конюху. С трудом пробившись сквозь толпу, я вошел внутрь и был поражен действительно трогательным зрелищем.

Среди дюжины девиц, скованных по шести цепями, охватывавшими их вокруг пояса, была одна, вид и наружность которой столь мало согласовались с ее положением, что в любых иных условиях я принял бы ее за даму, принадлежащую к высшему классу общества. Жалкое ее состояние, грязное белье и платье столь мало ее портили, что ее облик возбудил во мне уважение к ней и сострадание. Она старалась, насколько позволяли ей оковы, повернуться так, чтобы скрыть лицо от глаз зрителей; ее усилия спрятаться были так естественны, что, казалось, происходили из чувства стыдливости.

Так как шесть стражников, сопровождавших кучку несчастных, присутствовали здесь же в комнате, я отвел в сторону их начальника и обратился к нему, спросив, кто эта красавица. Он мог мне дать лишь самые общие сведения. «Мы взяли ее из Приюта[14] по приказу начальника полиции,— сказал он.— По всему видно, не за хорошие дела она была заключена туда. Я несколько раз расспрашивал ее в пути; она упорно отмалчивается. Но, хотя у меня и нет приказа обращаться с ней лучше, нежели с другими, я о ней больше забочусь, ибо сдается мне, она малость достойнее своих подруг. Вон тот молодчик,— добавил полицейский,— может вам больше рассказать о причинах ее несчастья: он следует за ней от самого Парижа, не переставая плакать. Должно быть, брат он ей, а не то полюбовник».

Я обернулся к тому углу комнаты, где сидел молодой человек. Казалось, он был погружен в глубокую задумчивость; мне никогда не прихо-

дилось видеть более живой картины скорби; одежда его была крайне проста; но человека хорошей семьи и воспитания отличишь с первого взгляда. Я подошел к нему; он поднялся мне навстречу, и я увидел в его глазах, в лице, во всех его движениях столько изящества и благородства, что почувствовал к нему искреннее расположение. «Не беспокойтесь, прошу вас,— сказал я подсаживаясь к нему.— Не удовлетворите ли вы моего любопытства касательно той красавицы, как мне кажется, вовсе не созданной для жалостного состояния, в котором я ее вижу?»

Он вежливо мне отвечал, что не может сообщить, кто она, не представившись мне сам, но что у него есть веские основания не открывать своего имени. «Могу вам все же сказать то, что не тайна для этих негодяев,— продолжал он, указывая на полицейских; — я люблю ее со столь необоримой страстью, что она делает меня несчастнейшим из смертных. Я все пустил в ход в Париже, чтобы исхлопотать ей свободу; ни просьбами, ни хитростью, ни силой я ничего не добился. Я решил следовать за ней, хотя бы на край света. Я сяду на корабль вместе с нею; отправлюсь в Америку. Но вот предел бесчеловечности: эти подлые мерзавцы,— прибавил он, говоря о полицейских,— не позволяют мне приближаться к ней. Я сделал попытку напасть на них открыто в нескольких милях от Парижа. Я сговорился с четырьмя молодцами, обещавшими мне помочь за солидную плату; но предатели бросили меня в стычке и бежали, захватив мои деньги. Невозможность достичь чего-либо силой застави-

ла меня сложить оружие; я упросил стражников позволить мне хотя бы следовать за ними, обещая вознаграждение; жажда наживы побудила их согласиться. Они требовали платы всякий раз, как предоставляли мне возможность говорить с моей возлюбленной. Мой кошелек вскоре иссяк, и теперь, когда я остался без гроша, они стали столь жестоки, что грубо отталкивают меня, стоит мне сделать шаг в ее направлении. Всего какую-нибудь минуту назад, когда я дерзнул приблизиться к ней, несмотря на их угрозы, они имели наглость прицелиться в меня из ружья; я вынужден, дабы удовлетворить их алчность и следовать дальше хотя бы пешком, продать здесь дрянную клячу, что служила мне до сих пор верховой лошадью».

Как ни спокойно, казалось, передавал он мне свою повесть, невольные слезы катились у него из глаз. Странным и трогательным показалось мне это приключение. «Не требую, чтобы вы открыли мне тайну ваших обстоятельств,— сказал я ему,— но, ежели я могу быть чем полезен, охотно предлагаю вам свои услуги».— «Увы! — возразил он,— я не вижу ни слабого луча надежды; мне надлежит всецело покориться суровой судьбе моей. Я поеду в Америку; там буду по крайней мере свободен в своей любви; я написал одному из друзей, и он окажет мне некоторую помощь в Гавре. Главное затруднение мое в том, чтобы попасть туда и чтобы облегчить хоть сколько-нибудь тяготы путешествия несчастному этому созданию»,— прибавил он, печально глядя на свою возлюбленную.— «Позвольте же мне,—

сказал я,— положить конец вашему затруднению: прошу вас принять эту небольшую сумму денег; очень сожалею, что не могу вам помочь иначе».

Я дал ему четыре золотых незаметно от стражи, ибо рассудил, что, узнав об этой сумме, они станут продавать ему свои услуги дороже. Мне даже пришло в голову сторговаться с ними, чтобы купить молодому любовнику постоянное право разговора со своей возлюбленной вплоть до Гавра. Поманив к себе начальника стражи, я сделал ему соответствующее предложение. Он видимо устыдился, несмотря на присущее ему нахальство. «Мы, сударь, не запрещали ему говорить с девицей,— сказал он смущенно,— но он желал быть подле нее все время; это нам неудобно, и справедливость требует, чтоб он платил за причиняемое неудобство».— «Ну, хорошо,— сказал я,— сколько же вам следует, чтобы это вам было не в тягость?» Он имел дерзость потребовать два золотых. Я тотчас дал их ему. «Смотрите однако,— присовокупил я,— без надувательства! Я оставляю свой адрес молодому человеку, дабы он известил меня обо всем, и знайте, что я найду способ добиться вашего наказания». Все это обошлось мне в шесть золотых.

Непринужденная, живая искренность, с какою молодой незнакомец выразил мне свою благодарность, окончательно убедили меня в том, что я имею дело с человеком из хорошей семьи, заслуживающим моей щедрости. Прежде чем уйти, я обратился с несколькими словами к его возлюбленной. Она мне отвечала с такой милой, очаро-

вательной скромностью, что, уходя, я невольно предался размышлениям о непостижимости женского характера.

Вернувшись в свое уединение, я больше не имел никаких известий об этом приключении. Прошло около двух лет [15], и я совсем уже забыл про него, когда неожиданный случай дал мне возможность узнать до конца все обстоятельства дела.

Я прибыл из Лондона в Кале с маркизом де..., моим учеником. Мы остановились, если не изменяет мне память, в «Золотом Льве», где по каким-то причинам принуждены были провести целый день и следующую ночь. Когда я гулял в послеобеденное время по улицам, мне показалось, что я вижу опять молодого незнакомца, с которым встретился тогда в Пасси. Он был весьма плохо одет и гораздо бледнее, чем в первое наше свидание; на руке у него висел старый дорожный мешок, указывавший на то, что он только что прибыл в город.

Он обладал лицом слишком красивым, чтобы его можно было забыть, и я тотчас же признал его. «Подойдемте-ка к этому молодому человеку»,— пригласил я маркиза.

Радость юноши была неописуема, когда он тоже признал меня. «О, милостивый государь,— воскликнул он, целуя мне руку,— наконец-то я могу еще раз выразить вам мою вечную признательность!» Я спросил, откуда он теперь. Он отвечал, что прибыл морем из Гавра, куда вернулся незадолго перед тем из Америки. «Вам, видимо, туго приходится,— сказал я ему,— ступайте к

«Золотому Льву», где я стою, я тотчас следую за вами».

Я вернулся в гостиницу, сгорая от нетерпения узнать подробности его несчастной судьбы и обстоятельства его поездки в Америку; я окружил его заботами и распорядился, чтобы у него ни в чем не было недостатка. Он не заставил себя упрашивать и вскоре рассказал историю своей жизни. «Вы столь благородно со мной поступаете,— обратился он ко мне,—что я бы упрекал себя в самой черной неблагодарности, утаив что-либо от вас. Поведаю вам не только мои беды и несчастья, но и мою распущенность, и постыднейшие мои слабости: уверен, что строгий ваш суд не помешает вам пожалеть меня».

Должен предупредить здесь читателя, что я записал его историю почти тотчас по прослушании ее, и, следовательно, не должно быть места сомнениям в точности и верности моего рассказа. Заявляю, что верность простирается вплоть до передачи размышлений и чувств, которые юный авантюрист выражал с самым отменным изяществом. Итак, вот его повесть [16], к которой я не прибавлю до самого ее окончания ни слова от себя.

Мне было семнадцать лет, и я заканчивал курс философских наук в Амьене, куда был послан родителями, принадлежащими к одной из лучших фамилий П... Я вел жизнь столь разумную и скромную, что учителя ставили меня в пример всему коллежу. Притом я не делал никаких особых усилий, чтобы заслужить сию похвалу;

но, обладая от природы характером мягким и спокойным, я учился охотно и с прилежанием, и мне вменялось в заслугу то, что было лишь следствием естественного отвращения к пороку. Мое происхождение, успехи в занятиях и некоторые внешние качества расположили ко мне всех достойных жителей города.

Я закончил публичные испытания[17] с такой прекрасной аттестацией, что присутствовавший на них епископ предложил мне принять духовный сан, суливший, по словам его, еще большие отличия, нежели Мальтийский Орден[18], к коему предназначали меня родители. По их желанию я уже носил орденский крест, а вместе с ним имя кавалера де Грие; приближались вакации, и я готовился возвратиться к отцу, который обещал в скором времени отправить меня в Академию[19].

Единственное, что меня печалило, когда я покидал Амьен, было расставание с другом, связанным со мной постоянными, нежными узами. Он был на несколько лет старше меня. Мы воспитывались вместе, но, происходя из бедной семьи, он был поставлен в необходимость принять духовный сан и после моего отъезда оставался в Амьене для занятий богословскими науками. Он обладал множеством достоинств. Вы узнаете его с лучших сторон в продолжение моей истории, особенно же со стороны великодушия и преданности в дружбе, которыми он превосходит славнейшие примеры древности. Если бы следовал я тогда его советам, я бы всегда был мудр и счастлив. Если бы внял я его увещаниям, хотя бы из глубины бездны, куда увлекали меня страсти, я

спас бы что-нибудь при крушении моего состояния и доброго имени. Но его заботы не принесли ему ничего, кроме горя при виде их бесполезности, а иногда и грубого отпора со стороны неблагодарного, который обижался на них, как на назойливые приставания.

Я назначил срок отъезда из Амьена. Увы! почему я не назначил его днем раньше? Я прибыл бы в отчий дом непорочным и добродетельным. Как раз накануне расставания моего с городом я гулял со своим другом, имя коего Тиберж; мы встретили арасскую почтовую карету и последовали за ней до гостиницы, где останавливаются дилижансы. У нас не было к тому иного повода, кроме пустого любопытства. Из нее вышло несколько женщин, сейчас же удалившихся в гостиницу; одна только, совсем еще юная, одиноко поджидала во дворе, пока пожилой человек, очевидно ее провожатый, хлопотал около ее поклажи. Она показалась мне столь очаровательной, что я, который никогда прежде не задумывался над различием полов, никогда не смотрел внимательно ни на одну девушку и своим благоразумием и сдержанностью вызывал общее восхищение, мгновенно воспылал чувством, охватившим меня до самозабвения. Большим моим недостатком была чрезвычайная робость и застенчивость; но тут эти свойства нисколько не остановили меня, и я прямо направился к той, которая покорила мое сердце.

Хотя она была еще моложе меня, она не казалась смущенной знаками моего внимания. Я обратился к ней с вопросом, что́ привело ее в Амь-

ен и есть ли у нее тут знакомые? Она отвечала мне простодушно, что родители посылают ее в монастырь. Любовь настолько уже овладела всем моим существом с той минуты, как воцарилась в моем сердце, что я принял эту весть как смертельный удар моим надеждам. Я говорил с таким пылом, что она сразу догадалась о моих чувствах; ибо была гораздо опытнее меня; ее решили поместить в монастырь против воли, несомненно с целью обуздать ее склонность к удовольствиям, которая уже обнаружилась и которая впоследствии послужила причиной всех ее и моих несчастий. Я оспаривал жестокое намерение ее родителей всеми доводами, какие только подсказывали мне моя расцветающая любовь и мое школьное красноречие. Она не выказывала ни строгости, ни удивления. После минуты молчания она сказала, что предвидит слишком ясно горестную участь свою, но такова, очевидно, воля неба, раз оно не дает никаких средств этого избежать. Нежность ее взоров, очаровательный налет печали в ее речах, а может быть моя собственная судьба, влекшая меня к гибели, не дали мне ни минуты колебаться с ответом. Я стал уверять, что ежели она только положится на мою честь и на бесконечную любовь, которую уже внушила мне, я не пожалею жизни, чтобы освободить ее от тирании родителей и сделать счастливой. Я всегда удивлялся, размышляя впоследствии, откуда явилось у меня тогда столько смелости и находчивости; но Амура никогда бы не сделали божеством, если бы он не творил чудес. Я прибавил еще тысячу убедительных доводов.

Прекрасная незнакомка хорошо знала, что в мои годы не бывают обманщиками; она поведала мне, что, если бы я вдруг нашел способ вернуть ей свободу, она почитала бы себя обязанной мне больше чем жизнью. Я отвечал, что готов на все; но, не имея достаточной опытности, чтобы сразу изобрести средства услужить ей, я ограничился общим уверением, от которого не могло быть большого толку ни для нее, ни для меня. Тем временем старый аргус присоединился к нам, и мои надежды должны были рухнуть, если бы находчивая девица не пришла на помощь моей недогадливости. Я был поражен неожиданностью, когда при появлении провожатого она назвала меня своим двоюродным братом и, не выказав ни малейшего смущения, объявила мне, что так счастлива встретить меня в Амьене, что решила отложить до завтра вступление в монастырь ради удовольствия поужинать со мною. Я отлично понял и оценил ее хитрость; я предложил ей остановиться в гостинице, хозяин которой, до переселения в Амьен, прослужил долгое время в кучерах у моего отца и был всецело мне предан.

Я сам сопровождал ее туда; старый провожатый ворчал сквозь зубы, приятель же мой Тиберж, ровно ничего не понимая в этой сцене, молча следовал за мною: он не слышал нашей беседы, прогуливаясь по двору, покуда я говорил о любви моей прекрасной даме. Опасаясь его благоразумия, я отделался от него, послав его с каким-то поручением. Итак, придя в гостиницу, я мог отдаться удовольствию беседы наедине с властительницею моего сердца.

Я скоро убедился, что я не такой ребенок, как мог думать. Сердце мое открылось множеству сладостных чувств, о которых я и не подозревал, нежный пыл разлился по всем моим жилам. Я пребывал в состоянии восторга, на несколько времени лишившего меня дара речи[20] и выражавшегося лишь в нежных взглядах.

Мадемуазель Манон Леско,— так она назвала себя,— видимо, была очень довольна действием своих чар. Мне казалось, что она увлечена не менее моего; она призналась, что находит меня милым и с радостью будет почитать себя обязанной мне своей свободой. Пожелав узнать, кто я такой, она еще более растрогалась, ибо, будучи заурядного происхождения, была польщена тем, что покорила такого человека, как я. Мы стали обсуждать, каким образом принадлежать друг другу.

После недолгих размышлений мы не нашли иного пути, кроме бегства. Следовало обмануть бдительность провожатого, который, хоть и слуга, а был не так прост; мы решили, что за ночь я снаряжу почтовую карету[21] и рано утром, до его пробуждения, вернусь в гостиницу; что мы бежим украдкою и направимся прямо в Париж, где тотчас же обвенчаемся. В кошельке у меня было около пятидесяти экю[22] — плод мелких сбережений, у нее было приблизительно вдвое больше. По неопытности мы воображали, что сумма эта неисчерпаема; не менее того рассчитывали мы и на успех других наших замыслов.

Поужинав с бо́льшим, чем когда-либо удовольствием, я удалился хлопотать о выполнении

нашего плана. Мои приготовления значительно упрощались тем обстоятельством, что, назначив отъезд домой на следующий день, я уже ранее собрал свои пожитки. Итак, мне ничего не стоило отправить дорожный сундук в гостиницу и заказать карету к пяти часам утра, когда городские ворота бывали уже отперты; но оставалось одно препятствие, которое я не принял в расчет, и оно чуть было не разрушило весь мой план.

Тиберж, хотя и старший меня всего тремя годами, был юношей зрелого ума и строгих правил; ко мне питал он исключительно нежные чувства. Вид столь красивой девицы, как мадемуазель Манон, мое рвение ее сопровождать и старания отделаться от него возбудили в нем некоторые подозрения. Он не посмел вернуться в гостиницу, где оставил нас, боясь явиться некстати; но решил дожидаться моего прихода у меня дома, где я и застал его, хотя было уже десять часов вечера. Его присутствие меня немало огорчило. Ему ничего не стоило обнаружить мое смущение. «Уверен,— откровенно обратился он ко мне,— что вы замышляете нечто, что желаете скрыть от меня; вижу то по вашему лицу». Я отвечал довольно резко, что не обязан отдавать ему отчет в каждом моем шаге. «Согласен,— возразил он,— но вы всегда относились ко мне как к другу, а это предполагает некоторое доверие и откровенность с вашей стороны». Он так настойчиво стал убеждать меня поделиться с ним моей тайной, что, будучи всегда с ним прямодушен, я и теперь всецело доверил ему свое страст-

ное увлечение. Он принял мой рассказ с нескрываемым недовольством, повергшим меня в трепет. Особенно раскаивался я в болтливости, с какой расписал ему весь план нашего бегства. Он заявил, что питает ко мне слишком преданную дружбу, чтобы не воспротивиться этой затее всеми силами; что представит мне сначала все доводы, могущие меня остановить; но что, ежели я не откажусь и после этого от своего несчастного решения, он предупредит о том лиц, которые смогут пресечь его в корне. Засим обратился он ко мне со строгой речью, длившейся более четверти часа и закончившейся новой угрозой донести на меня, если я не дам ему слова поступать более разумно и осмотрительно.

Я был в отчаянии, что выдал себя так некстати. Но так как за последние два-три часа любовь крайне изощрила мой ум, я умолчал о том, что выполнение плана назначено на следующее утро, и решил при помощи уловки [23] обойти затруднение. «Тиберж,— сказал я,— до сих пор считал я вас за друга и хотел испытать вас своим доверием. Я действительно влюблен, я не обманул вас; но бегство — не такой шаг, чтобы решиться на него необдуманно. Зайдите завтра за мной в девять утра; я постараюсь познакомить вас с моей возлюбленной, и судите тогда сами, достойна ли она моего решения». Он покинул меня с бесконечными уверениями в своей дружбе.

Всю ночь я приводил в порядок дела, и чуть забрезжило утро, был уже в гостинице мадемуазель Манон. Она ожидала у окна, выходившего на улицу, и, завидев меня, сама отворила мне

двери. Бесшумно мы вышли наружу. У нее был только сундучок с бельем, и я донес его собственноручно. Карета была уже подана; не медля ни минуты, мы покинули город.

Впоследствии я сообщу о поведении Тибержа, когда обнаружил он мое вероломство. Рвение его не угасло. Вы увидите, куда оно его завело и сколько пролил я слез, размышляя о том, какова была его награда.

Мы так гнали лошадей, что прибыли в Сен-Дени[24] еще до ночи. Я скакал верхом подле кареты, вследствие чего мы могли вести разговор лишь во время перемены лошадей; но, едва только мы завидели Париж, то есть почувствовали себя почти в безопасности, мы позволили себе подкрепиться, ибо ничего не ели с самого Амьена. Как ни был я влюблен в Манон, она сумела меня убедить в не менее сильном ответном чувстве. Столь мало сдержанны были мы в своих ласках, что не имели терпения ждать, когда останемся наедине. Кучер и трактирщики смотрели на нас с восхищением, и, как я заметил, были поражены, видя такое неистовство любви в детях нашего возраста.

Намеренье обвенчаться было забыто в Сен-Дени; мы преступили законы церкви и стали супругами, нимало над тем не задумавшись. Несомненно, что, обладая характером нежным и постоянным, я был бы счастлив всю жизнь, если бы Манон оставалась мне верной. Чем более я узнавал ее, тем более новых милых качеств открывал я в ней. Ее ум, ее сердце, нежность и красота создавали цепь столь крепкую и столь

очаровательную, что я пожертвовал бы всем моим благополучием, чтобы только быть навеки окованным ею. Ужасная превратность судьбы! То, что составляет мое отчаяние, могло составить мне счастье! Я стал несчастнейшим из людей именно благодаря своему постоянству, хотя, казалось, вправе был ожидать сладчайшей участи и совершеннейших даяний любви.

В Париже сняли мы меблированное помещение на улице В...[25] и, на мою беду, рядом с домом известного откупщика, г-на де Б... Прошло три недели, в течение коих я столь преисполнен был страстью, что и думать позабыл о родных и о том, как огорчен отец моим отсутствием. Тем временем, поскольку поведение мое не заключало в себе ни малейшей доли распутства, а также и Манон вела себя безупречно, спокойствие жизни нашей мало-помалу пробудило во мне сознание долга.

Я принял решение по возможности примириться с отцом. Возлюбленная моя была так мила, что я не сомневался в хорошем от нее впечатлении, если бы нашел средство ознакомить отца с ее благонравием и достойным поведением; одним словом, я льстил себя надеждой получить от него разрешение жениться на ней, не видя возможности осуществить это без его согласия. Я сообщил свое намерение Манон, дав ей понять, что, помимо побуждений сыновней любви и долга, следует считаться и с жизненной необходимостью, ибо средства наши крайне истощились, и я начинаю терять уверенность в том, что они неиссякаемы.

Манон холодно отнеслась к моему намерению. Однако все ее возражения были мною приняты за проявление с ее стороны нежного чувства и за боязнь меня потерять в случае, если отец мой, узнав место нашего убежища, не даст своего согласия на брак; и я ничуть не подозревал жестокого удара, который был уже занесен надо мною. На доводы о неотложной необходимости она отвечала, что у нас есть еще на что прожить несколько недель, а затем она рассчитывает на привязанность к ней и помощь родственников, к которым напишет в провинцию. Она подсластила отказ свой столь нежными и страстными ласками, что, живя только ею одной и не питая ни малейшего недоверия к ее чувству, я принял все ее возражения и со всем согласился.

Я предоставил ей распоряжаться нашим кошельком и заботиться об оплате ежедневных расходов. Немного спустя я заметил, что стол наш улучшился, а у нее появилось несколько новых, довольно дорогих нарядов. Зная, что у нас едва-едва оставалось каких-нибудь двенадцать-пятнадцать пистолей [26], я выразил изумление явному приращению нашего богатства. Смеясь, просила она меня не смущаться этим обстоятельством. «Разве не обещала я вам изыскать средства?» — сказала она. И я был слишком еще наивен в своей любви к ней, чтобы поддаться какой-либо тревоге.

Однажды вышел я после полудня, предупредив ее, что буду в отсутствии дольше обычного. Вернувшись, я был удивлен, прождав у дверей мину-

ты две-три, пока мне отворили. Единственной прислугой у нас была девушка приблизительно нашего возраста. Когда она впускала меня, я обратился к ней с вопросом, почему меня заставили так долго ждать. Она смущенно отвечала, что не слышала моего стука. Я стучал всего один раз и поэтому заметил ей: «Но, если вы не слышали, почему же пошли мне отворять?» Вопрос мой привел ее в такое замешательство, что, не находя ответа, она принялась плакать, уверяя, что это не ее вина, что барыня запретила ей отворять, прежде чем г-н де Б... не уйдет по другой лестнице, примыкавшей к спальной. В моем смущении я не имел сил войти в дом. Я решил вновь спуститься на улицу под предлогом какого-то дела и приказал девушке передать барыне, что вернусь через минуту, запретив ей однако сообщать, что она говорила мне о г-не де Б...

Охватившая меня тоска была столь велика, что, сходя по лестнице, я проливал слезы, не ведая еще, какое чувство было их источником. Я вошел в первую попавшуюся кофейную и, заняв место у столика, оперся головой на руки, дабы размыслить о происшедшем. Я не смел вызвать в памяти то, о чем только что услышал; мне хотелось счесть это лишь обманом слуха, и много раз я готов был уже встать и вернуться домой, не показывая вида, что я что-либо заметил. Измена Манон мне представлялась столь невероятной, что я боялся оскорбить ее подозрением. Я обожал ее, это было несомненно; я дал ей не больше доказательств любви, чем получил от нее: как же я мог ее обвинять в меньшей

искренности, в меньшем постоянстве сравнительно со мною? Какой ей смысл было меня обманывать? Всего три часа назад осыпала она меня самыми нежными ласками и с упоением отдавалась моим; собственное сердце знал я не лучше ее сердца. «Нет, нет,— восклицал я,— невозможно, чтобы Манон мне изменила! Ей ведомо, что жизнь моя посвящена лишь ей одной; она слишком хорошо знает, как я обожаю ее! За что же ей меня ненавидеть?»

А между тем посещение и тайное бегство г-на де Б... приводили меня в замешательство. Я вспомнил также разные мелкие покупки Манон, которые явно превосходили наши средства. Они наводили на мысль о щедротах нового ее любовника. А ее уверения, что она изыщет денежные средства из какого-то неведомого источника?! Всем этим догадкам я не мог найти того удовлетворительного объяснения, какого жаждало мое сердце.

С другой стороны, я почти не расставался с ней с тех пор, как мы поселились в Париже. Занятия, прогулки, развлечения,— повсюду мы были вместе. Боже мой! да мы бы не вынесли огорчения даже минутной разлуки! Нам беспрестанно надо было говорить друг другу о любви: без того мы умерли бы от беспокойства. И вот, я не мог вообразить ни на одно мгновение, чтобы Манон была занята кем-либо другим, а не мною.

В конце концов мне показалось, что я нашел разгадку этой тайны. «Г-н де Б...,— решил я,— ведет большие дела и имеет обширную клиентуру; родители Манон могли при его посредстве

передать ей некоторую сумму денег. Быть может, уже и ранее она получила что-нибудь от него; сегодня он явился, чтобы передать ей еще. Вероятно, она решила скрыть от меня его приход, чтобы потом поразить меня приятной неожиданностью. Может быть, она и рассказала бы об этом, войди я к ней как обычно, вместо того, чтобы сидеть здесь и сокрушаться. Во всяком случае она не станет от меня таиться, если я сам заговорю с ней об этом.

Я настолько проникся этим убеждением, что оно весьма ослабило мою печаль. Я тотчас же вернулся домой и обнял Манон с обычной нежностью. Она очень приветливо меня встретила. Сперва я подумал было рассказать ей о своих догадках, которые представлялись мне теперь более чем несомненными, но удержался в надежде, что может быть она сама поведает мне все, что произошло.

Подали ужин. Я сел за стол в очень веселом настроении, но при свете свечи, которая стояла между нами, лицо дорогой моей возлюбленной показалось мне печальным. Ее грусть передалась и мне. Я заметил во взгляде ее, обращенном на меня, что-то необычное. Я не мог разобрать, была ли то любовь или сострадание, но чувство, выражавшееся в ее очах, казалось мне ласковым и томным. Я взирал на нее с неменьшим вниманием; и может быть ей было столь же трудно судить о состоянии моего сердца по моим взглядам. Мы не могли ни говорить, ни есть. Наконец, слезы потекли из ее прекрасных очей: лживые слезы!

«О, боже! — вскричал я, — вы плачете, дорогая Манон; вы расстроены до слез и не скажете мне ни слова о ваших печалях». Она ответила мне лишь глубокими вздохами, которые усилили мою тревогу. Трепеща, я встал с места; я заклинал ее со всем рвением любви моей открыть причину ее слез; отирая их, я плакал сам; я был ни жив ни мертв. Даже варвар был бы тронут искренностью моей скорби и моих опасений.

В то время, как я весь был занят ею, я услышал шаги нескольких человек по лестнице. Легонько постучали в дверь. Манон быстро поцеловала меня и, выскользнув из моих объятий, бросилась в спальную, мгновенно заперев за собою дверь. Я вообразил, что, желая привести в порядок свое платье, она решила скрыться от посетителей, которые постучались. Я сам пошел им отворять.

Не успел я отворить дверь, как был схвачен тремя мужчинами, в коих признал лакеев моего отца. Они не применили ко мне насилия; но, пока двое из них держали меня за руки, третий обыскал мои карманы и вынул из них небольшой нож, единственное оружие, бывшее при мне. Принося мне извинения за столь невежливое со мною обхождение, они разъяснили, что действуют по приказу моего отца и что мой старший брат ожидает меня внизу в карете. Я был так поражен, что без сопротивления и без возражений позволил себя проводить к нему. Брат действительно дожидался меня. Меня посадили в карету рядом с ним, и кучер, как ему было приказано, тут же погнал лошадей в Сен-Дени. Брат

нежно обнял меня, но не проронил ни слова; таким образом, я обладал полным досугом, чтобы предаться мыслям о злой судьбе своей.

Сперва я так был озадачен, что ни одно предположение не приходило мне в голову. Меня жестоко предали, но кто же? Тиберж первый пришел мне на ум. «Изменник! — говорил я, — ты поплатишься жизнью, если подозрения мои справедливы». Между тем я рассудил, что он не был осведомлен о месте моего убежища и, следовательно, не от него могли узнать о нем. Я не смел запятнать свое сердце обвинением Манон. Та чрезвычайная печаль, которою, казалось мне, она была подавлена, ее слезы, нежный поцелуй, с которым она убежала, представлялись мне немалой загадкой; но я был склонен объяснять это как бы предчувствием нашей общей беды; сокрушаясь и ропща на судьбу, оторвавшую меня от нее, я наивно воображал, что она заслуживает еще более сожалений, нежели я сам.

После долгих раздумий я пришел к убеждению, что меня узнал на парижских улицах кто-нибудь из знакомых, который и сообщил о том моему отцу. Мысль эта меня утешила. Я рассчитывал отделаться суровыми упреками, пусть даже каким-нибудь наказанием, которые мне следовало выдержать во имя родительского авторитета. Я решил терпеливо все перенести и обещать все, чего от меня потребуют, дабы как можно скорее вернуться в Париж и вновь наслаждаться счастливой жизнью со своей дорогой Манон.

Спустя немного времени мы прибыли в Сен-Дени. Брат, удивленный моим молчанием,

приписал его страху. Он стал утешать меня, уверяя, что мне нечего бояться суровости отца, ежели только я проникнусь сознанием своего долга и оправдаю любовь, которую отец питает ко мне. В Сен-Дени брат решил остаться на ночлег и предусмотрительно положил спать всех трех лакеев в моей комнате.

Тяжело мне было очутиться опять в той же самой гостинице, где мы останавливались вместе с Манон по пути из Амьена в Париж. Хозяин и слуги узнали меня и сразу разгадали истинный смысл моего приключения. Я услышал, как один из слуг говорил хозяину: «А ведь никак это тот самый красавчик, что полтора месяца назад проезжал здесь с той пригожей девицей. Уж как он любил ее! Уж как они ласкали друг дружку, бедные детки! Жаль, ей богу, что их разлучили». Я притворился, будто ничего не слышу, и постарался никому не показываться на глаза.

В Сен-Дени брата дожидалась двухместная карета. Мы выехали спозаранку и на другой день к вечеру были дома. До моей встречи с отцом брат повидался с ним с глазу на глаз, дабы расположить его в мою пользу, рассказав, как покорно дал я себя увезти; таким образом, я был принят отцом гораздо приветливее, чем мог ожидать. Он удовольствовался общим выговором за проступок, который я совершил, исчезнув из дому без его позволения. Упомянув о моей возлюбленной, он сказал, что я вполне заслужил то, что со мной произошло, связавшись с незнакомкой; что он был лучшего мнения о моем благоразумии, однако надеется, что это маленькое приклю-

чение сделает меня умнее. Всю его речь истолковал я лишь в благоприятном для себя смысле. Я принес благодарность отцу за доброту, с коей простил он меня, и обещал отныне соблюдать послушание и руководствоваться более строгими правилами в своем поведении. В глубине сердца я торжествовал; ибо, по обороту всего дела, я не сомневался, что получу возможность уже ближайшей ночью исчезнуть из дому.

Сели ужинать: за столом подшучивали над моей амьенской победой и бегством с верной любовницей. Я добродушно принимал насмешки; был даже в восторге, что мне позволено вести разговор о предмете, неотступно занимающем мои мысли. Однако несколько слов, оброненных отцом, заставили меня насторожиться. Отец заговорил о вероломной и корыстной услуге, оказанной г-ном Б... Я замер от смущения, услышав это имя из уст моего отца, и покорно просил его разъяснить мне подробнее, о чем идет речь. Он обратился к моему брату с вопросом, рассказал ли он мне всю историю? Брат отвечал, что в дороге я держался так спокойно, что он не усмотрел надобности в этом лекарстве для излечения моего безумия. Я заметил, что отец колеблется, неуверенный, следует ли объяснить мне все до конца. Но я стал умолять его столь настойчиво, что он удовлетворил моему любопытству, а вернее будет сказать, жестоко казнил меня самым ужасным из всех разоблачений.

Сначала он спросил, всегда ли я имел наивность верить в любовь своей подруги? Я отвечал со всей прямотой, что вполне в этом уверен

и ничто не может поселить во мне ни малейшего сомнения. «Ха! ха! ха! восхитительно! — вскричал он, громко расхохотавшись.— Что за прелестная простота! Меня умиляют твои чувства. Какая жалость, что я записал тебя в Мальтийский орден[27], бедный ты мой рыцарь, раз из тебя может выйти такой покладистый и удобный супруг». И он еще долго не унимался в своих насмешках над моей глупостью и доверчивостью.

В конце концов, так как я упорно молчал, он повел речь о том, что, согласно его расчетам, начиная с отъезда из Амьена, Манон любила меня всего лишь около двенадцати дней: «ибо,— прибавил он,— я знаю, что уехал ты из Амьена 28-го дня прошлого месяца; сегодня 29-е: одиннадцать дней прошло с тех пор, как господин Б... мне написал: полагаю, что ему потребовалось дней восемь для того, чтобы завязать близкое знакомство с твоей подругой; итак, отняв одиннадцать и восемь из тридцати одного дня, что протекли от 28-го числа одного месяца до 29-го другого, получаем двенадцать, или около того». И взрывы смеха возобновились.

Сердце мое сжалось, покуда я выслушивал его насмешки, и я боялся не выдержать до конца этой печальной комедии. «Да будет тебе ведомо,— продолжал отец,— раз сам ты ничего не подозреваешь, что господин Б... покорил сердце твоей принцессы; ибо, конечно, он пускает мне пыль в глаза, рассчитывая меня убедить, будто возымел намерение похитить ее у тебя из бескорыстного рвения оказать мне услугу. От кого другого, а уж

от такого человека, да притом вовсе даже не знакомого со мною, невозможно ожидать проявления столь благородных чувств! Он узнал от нее, что ты мой сын; и, чтобы избавиться от твоей назойливости, донес мне о месте вашего пристанища и о распутном образе жизни, дав понять, что необходимы крутые меры, чтобы схватить тебя; он предложил помочь мне в этом и благодаря его наставлениям и указаниям твоей любовницы, брату твоему удалось захватить тебя врасплох. Поздравь же себя в прочности своего триумфа! Ты умеешь добиться быстрой победы[28], рыцарь; но не умеешь закрепить за собой свои завоевания».

Дольше я не имел сил вынести речь, каждое слово которой пронзало мне сердце. Я встал из-за стола и не успел сделать нескольких шагов к двери, как упал без чувств и без сознания[29]. Оказанная мне быстрая помощь привела меня в себя. Я открыл глаза, дабы пролить потоки слез, и уста, дабы излить жалобы, самые печальные, самые трогательные. Нежно любящий меня отец горячо принялся утешать меня. Я слышал слова его, не внимая их смыслу. Я пал перед ним на колени; сжимая руки, заклинал его отпустить меня в Париж, чтобы заколоть Б... «Нет,— говорил я,— он не покорил сердца Манон; он принудил ее, он ее обольстил чарами или зельем, быть может, овладел ею силой. Манон любит меня, мне ли этого не знать? Наверное, он угрожал ей с кинжалом в руке и против воли заставил покинуть меня. Он был готов на все, чтобы похитить у меня мою прелестную возлюбленную. О, боже!

3*

боже, возможно ли, чтобы Манон мне изменила и перестала любить меня!»

Так как я все время твердил о скорейшем возвращении в Париж и всякий раз при этом даже вскакивал с места, отец мой понял, что в моем исступлении ничто не сможет меня остановить. Он отвел меня в одну из верхних комнат, где оставил двух слуг для присмотра за мною. Я более не владел собой. Я бы пожертвовал тысячью жизней, лишь бы только побывать на четверть часа в Париже. Я понял, что выдал себя и мне не позволят так просто выйти из своей комнаты. Я смерил глазами высоту окон над землей. Не видя никакой возможности убежать этой дорогой, я обратился к двум моим стражам. Я надавал им множество обещаний, сулил им целое состояние, если они не станут препятствовать моему побегу. Я убеждал, увещевал, угрожал; попытки мои были бесполезны. Тут я потерял всякую надежду. Я решил умереть и бросился на постель, намереваясь покинуть ее лишь вместе с жизнью. Я провел ночь и следующий день в том же положении. Я отверг пищу, которую принесли мне на утро.

Отец пришел навестить меня после полудня. По доброте своей он старался облегчить мои страдания самыми ласковыми утешениями. Он столь решительно приказал мне что-нибудь съесть, что из уважения к нему я повиновался. Прошло несколько дней, в течение которых я принимал пищу только в его присутствии, покоряясь его воле. Он не переставал приводить мне доводы, стараясь образумить меня и внушить презрение

к неверной Манон. Правда, я более уже не уважал ее; как мог я уважать самое ветреное, самое коварное из всех созданий? Но ее образ, пленительные черты я лелеял по-прежнему в глубине моего сердца; я это ясно чувствовал. «Пусть я умру,— говорил я,— как можно не умереть после такого позора и таких страданий; но я претерплю тысячу смертей, а не забуду неблагодарной Манон».

Отец был поражен, видя меня в непрерывной тоске. Он знал мои правила чести и, не сомневаясь в том, что ее измена должна вызвать во мне презрение, вообразил, что постоянство мое происходит не столько от этой страсти, сколько от общего влечения моего к женщинам. Он настолько проникся этой мыслью, что, движимый нежной привязанностью, однажды вошел ко мне с готовым предложением. «Кавалер,— сказал он,— до сей поры всегда желал я видеть тебя рыцарем Мальтийского ордена; убеждаюсь однако, что склонности твои направлены в иную сторону; тебя влечет к красивым женщинам; я решил подыскать тебе подругу по вкусу. Скажи мне откровенно, что думаешь ты об этом?»

Я отвечал, что отныне не делаю различий между женщинами и после несчастья, случившегося со мною, всех их презираю одинаково. «Я отыщу тебе такую,— засмеялся отец,— которая будет походить на Манон и будет вернее, чем она». «Ах! ежели у вас есть доброе чувство ко мне,— воскликнул я,— верните мне ее, только ее одну! Верьте, дорогой батюшка, она не изменила мне;

она не способна на столь черную и жестокую низость. Всех нас обманывает вероломный Б..., вас, и ее, и меня. Если бы вы ее увидели хоть на миг, вы сами бы полюбили ее».— «Ребенок! — возразил мой отец.— Как можете вы быть ослепленным до такого предела, после того, что я сообщил вам о ней? Ведь она сама предала вас вашему брату. Забудьте ее, забудьте самое ее имя и, ежели вы благоразумны, не искушайте моей к вам снисходительности».

Правота отца была для меня слишком очевидна. Только непроизвольный сердечный порыв побудил меня защищать изменницу. «Увы! — воскликнул я, помолчав с минуту,— сомнения нет, я несчастная жертва самого низкого из всех предательств. Да,— продолжал я,— проливая слезы досады, вижу теперь, что я просто доверчивый ребенок. Им ничего не стоило меня обмануть. Но я знаю, как отомстить». Отец пожелал узнать мои намерения.— «Я направлюсь в Париж,— сказал я,— подожгу дом Б... и спалю его живьем вместе с коварной Манон». Мой порыв рассмешил отца и послужил поводом лишь к более строгому присмотру за мной в моем заточении.

Я провел в нем целых полгода, но в первые месяцы произошло мало перемен в моем настроении. Все мои чувства сводились к вечному чередованию ненависти и любви, надежды и отчаяния,— в зависимости от того, в каком виде представал образ Манон моим мыслям. То рисовалась она мне самой пленительной из всех девиц на свете, и я томился жаждой ее видеть; то представлялась она мне низкой, вероломной любов-

ницей, и я клялся отыскать ее лишь для того, чтобы покарать.

Меня снабдили книгами, и они немного способствовали успокоению моей души. Я перечитал всех любимых своих писателей, приобрел новые знания, вновь получил вкус к занятиям: вы увидите, сколько пользы принесло мне это впоследствии. Просвещенный любовью, я нашел смысл во множестве мест Горация и Вергилия, которые ранее оставались для меня темными. Я составил любовный комментарий к четвертой книге «Энеиды» [30]; предназначая его к напечатанию, льщу себя надеждой, что читатели будут им удовлетворены. «Увы,— говорил я, составляя его,— верной Дидоне нужно было сердце, подобное моему».

Однажды Тиберж навестил меня в темнице. Я был поражен горячим порывом, с которым он обнял меня. До той поры я смотрел на нашу взаимную привязанность как на простую товарищескую дружбу между молодыми людьми приблизительно одного возраста. Я нашел его столь изменившимся и возмужавшим за пять или шесть месяцев нашей разлуки, что облик его и манеры внушили мне уважение. Он заговорил со мною скорее как мудрый советчик, нежели как школьный приятель. Он сожалел о заблуждении, жертвой которого я пал; поздравлял с исцелением и, наконец, увещевал воспользоваться уроком этой юношеской ошибки, убедившись на опыте в тщете удовольствий.

Я смотрел на него с изумлением. Он заметил это. «Дорогой мой кавалер,— сказал он,— все, что я вам говорю, несомненная истина, и я

удостоверился в том после суровых испытаний. Я чувствовал в себе влечение к сластолюбию не меньшее, нежели вы; но небо даровало мне в то же время и склонность к добродетели. Я обратился к собственному разуму, дабы сравнить плоды, приносимые тем и другим, и не замедлил распознать их различия. Небо присоединило помощь свою к моим размышлениям. Во мне зародилось презрение к миру, ни с чем не сравнимое. Назвать ли вам, что́ удерживает меня здесь,— прибавил он,— и что́ препятствует мне бежать в пустыню? Единственно, нежная дружба к вам. Мне ведомы превосходные качества сердца вашего и ума; нет такого славного поприща, к которому вы не были бы способны. Яд суетных удовольствий совратил вас с пути. Какая потеря для добродетели! Ваше бегство из Амьена причинило мне столько горести, что с той поры я не вкусил ни минуты покоя. Судите о том по моим поступкам». Он рассказал мне, что после того, как обнаружил мой обман и бегство с любовницей, он сел на лошадь, чтобы следовать за мною; но, так как я опередил его на четыре или пять часов, ему было невозможно догнать меня; тем не менее, он прибыл в Сен-Дени полчаса спустя после моего отъезда; будучи уверен, что я остановлюсь в Париже, он провел в нем полтора месяца, тщетно разыскивая меня; он обошел все места, где льстил себя надеждою меня встретить, и, наконец, однажды узнал мою любовницу в Комедии; она сидела в театре в блестящем уборе, и он догадался, что она обязана своим богатством какому-нибудь новому любовнику; он про-

следил ее карету до самого дома, где выведал от прислуги, что ее содержат щедроты г-на Б... «Я не остановился и на этом,— продолжал он,— я вернулся туда же на следующий день, дабы узнать от нее самой, что с вами произошло. Она убежала от меня, лишь только услышала ваше имя, и я вынужден был возвратиться в провинцию, не добившись других сведений. Там я узнал о вашем приключении и о крайнем унынии, в которое оно повергло вас; но я не хотел вас видеть, не уверившись в том, что найду вас в более спокойном состоянии».

«Значит, вы видели Манон? — воскликнул я со вздохом.— Увы! вы счастливее меня, обреченного не видеть ее никогда более». Он стал упрекать меня за этот вздох, все еще обличавший мою слабость к ней. Он с такой изысканной ловкостью польстил моему доброму нраву и моим хорошим наклонностям, что зародил во мне, начиная с первого же посещения, сильное желание отказаться, по его примеру, от всех мирских услад и принять пострижение.

Я так увлекся этой идеей, что, оставшись один, ни о чем другом более не помышлял. Я вспомнил речи г-на епископа Амьенского, дававшего мне тот же совет, и благоприятные для меня его предсказания, ежели я последую по сему пути. Благочестивые чувства еще укрепили меня в моем решении. «Я буду вести жизнь мудрую и христианскую,— говорил я; — посвящу себя науке и религии, что не позволит мне помышлять об опасных любовных утехах. Я буду презирать то, что обычно восхищает людей; и, раз я чувствую, что

сердце мое будет стремиться лишь к тому, что представляется ему достойным, у меня будет столь же мало забот, сколь и желаний».

Я уже заранее составил себе план одинокой и мирной жизни[31]. В него входила уединенная хижина, роща и прозрачный ручей на краю сада; библиотека избранных книг; небольшое число достойных и здравомыслящих друзей; стол умеренный и простой. Я присоединил к этому переписку с другом, который, живя в Париже, будет сообщать мне городские новости, не столько для удовлетворения моего любопытства, сколько для того, чтобы развлекать меня суетными волнениями общества. «Разве не буду я счастлив? — прибавлял я,— разве не осуществятся все мои желания?» Несомненно, такие планы вполне подходили моим склонностям. Однако, размышляя о столь мудром устроении моей будущей жизни, я почувствовал, что сердце мое жаждет еще чего-то, и, дабы уж ничего не оставалось желать в моем прелестнейшем уединении, надо было только удалиться туда вместе с Манон.

Между тем Тиберж не прекращал своих посещений, стремясь укрепить меня в намерении, которое мне внушил, и вот однажды я решился открыться отцу. Отец объявил мне, что взял за правило предоставлять детям свободу выбора жизненного пути, и, каковы бы ни были мои планы, оставляет за собой только право помогать мне советами. Он преподал мне несколько весьма мудрых наставлений, не столько стараясь разочаровать меня в моем проекте, сколько возбудить сознательное к нему отношение.

Начало учебного года приближалось. Я сговорился с Тибержем вместе определиться в семинарию Сен-Сюльпис, где он должен был закончить курс богословских наук, а я — приступить к ним. Его заслуги, известные епархиальному епископу, снискали ему от сего прелата солидный бенефиций[32] еще до нашего отъезда.

Отец мой, полагая, что я вполне исцелился от своей страсти, отпустил меня без всяких затруднений. Мы прибыли в Париж. Духовное одеяние заменило мальтийский крест, а имя аббата де Грие — рыцарское звание. Я с таким прилежанием взялся за занятия, что в немного месяцев сделал огромные успехи. Я занимался и ночью, а днем не терял даром ни минуты. Слава моя так прогремела, что меня уже поздравляли с будущим саном, который не мог меня миновать; и без всяких ходатайств с моей стороны имя мое заняло место в списке бенефиций. Я не пренебрегал и делами благочестия, ревностно посещая церковные службы. Тиберж был в восторге, приписывая все своим стараниям и много раз я видел, как он проливал слезы радости, торжествуя свой успех в деле моего обращения, как он говорил.

Меня никогда не удивляло, что намерения людские подлежат переменам: одна страсть порождает их, другая может их уничтожить; но, когда я думаю о святости моих намерений, приведших меня в семинарию, и о сокровенной радости, какую ниспослало мне небо при их осуществлении, я страшусь при мысли о том, с какой легкостью я от них отрекся. Ежели истинно то, что небесная помощь в любое мгновение обла-

дает силою, равною силе страстей, пусть объяснят мне, какая же роковая власть совращает вдруг человека со стези долга, почему он теряет всякую способность к сопротивлению[33] и не чувствует при этом ни малейших угрызений совести.

Я полагал, что совершенно освободился от любовных искушений. Мне казалось, что теперь я всегда предпочту страницу блаженного Августина или четверть часа благочестивых размышлений всем чувственным утехам, даже если бы меня призывала сама Манон. А между тем одно злосчастное мгновение низвергло меня в пропасть, и падение мое было тем непоправимее, что, очутившись вдруг на той же глубине, из которой я выбрался, я увлечен был новыми страстями гораздо далее, в самую бездну.

В Париже я провел около года, не стараясь ничего разузнать о Манон. Трудно мне было бороться с собой первое время; но всегдашняя поддержка Тибержа и собственные размышления способствовали моей победе. Последние месяцы протекли столь спокойно, что я полагал, что еще немного — и я забуду навеки это пленительное и коварное создание. Наступило время публичного испытания[34] в Богословской школе; я обратился с просьбой к некоторым важным особам почтить своим присутствием мой экзамен. Имя мое прогремело по всем кварталам Парижа и дошло до ушей изменницы. Она не вполне признала меня в сане аббата, но какой-то остаток любопытства, или, быть может, некоторое раскаяние в своем предательстве (я никогда не мог разобрать, какое из этих двух чувств) возбудили

в ней интерес к имени, столь сходному с моим. Она явилась в Сорбонну вместе с несколькими другими дамами. Она присутствовала на моем испытании и, несомненно, без труда меня узнала.

Я ничего не знал о ее посещении. Как известно, для дам отводятся особые ложи, где они сидят скрытыми за жалюзи. Я вернулся в семинарию, покрытый славою и осыпанный поздравлениями. Было шесть часов вечера. Минуту спустя по моем возвращении мне доложили, что меня желает видеть какая-то дама. Я тотчас же направился в приемную. Боже! какое неожиданное явление! — меня ожидала Манон. То была она, но еще милее, еще ослепительнее в своей красоте, чем когда-либо. Ей шел осьмнадцатый год; пленительность ее превосходила всякое описание: столь была она изящна, нежна, привлекательна; сама любовь! Весь облик ее мне показался волшебным.

При виде ее я замер в смущении и, не догадываясь о цели ее посещения, ожидал, дрожа, с опущенными глазами, что она скажет. Несколько минут она находилась в неменьшем замешательстве, нежели я, однако, видя, что я продолжаю молчать, поднесла руку к глазам, чтобы скрыть слезы. Робким голосом сказала она, что я вправе был возненавидеть ее за ее неверность, но если я питал к ней когда-то некоторую нежность, то довольно жестоко с моей стороны за два года ни разу не уведомить ее о моей участи, а тем более, встретившись с ней теперь, не сказать ей ни слова. Смятение моей души, покуда я выслушивал ее, не может быть выражено никакими словами.

Она села. Я продолжал стоять — в полоборота к ней, не смея прямо взглянуть на нее. Несколько раз я начинал было говорить и не имел сил окончить свою речь. Наконец, сделав усилие над собой, я воскликнул горестно: «Коварная Манон! О коварная, коварная!» Она повторила, заливаясь слезами, что и не хочет оправдываться в своем вероломстве. «Чего же вы хотите?» — вскричал я тогда.— «Я хочу умереть,— отвечала она,— если вы не вернете мне вашего сердца, без коего жить для меня невозможно».— «Проси же тогда мою жизнь, неверная! — воскликнул я, проливая слезы, которые тщетно старался удержать,— возьми мою жизнь, единственное, что остается мне принести тебе в жертву, ибо сердце мое никогда не переставало принадлежать тебе».

Едва я успел произнести последние слова, как она бросилась с восторгом в мои объятия. Она осыпала меня страстными ласками; называла меня всеми именами, какие только может изобрести любовь для выражения самой нежной страсти. Я все еще медлил с ответом. И правда, каков переход от спокойного состояния последних месяцев к мятежным порывам души, уже возрождавшимся во мне! Я был в ужасе; я дрожал, как дрожат ночью от страха в пустынной местности, когда кажется, что вы перенесены в иную стихию, когда вас охватывает тайный трепет и вы приходите в себя лишь освоившись с окрестностями.

Мы сели друг подле друга. Я взял ее руки в свои. «Ах, Манон,— произнес я, печально смотря на нее,— не ожидал я той черной измены, ка-

кой отплатили вы за мою любовь. Вам легко было обмануть сердце, коего вы были полной властительницей, обмануть человека, полагавшего все свое счастье в угождении и в послушании вам. Скажите же теперь, нашли ли вы другое сердце, столь же нежное, столь же преданное? Нет, нет, природа редко создает сердца моего закала. Скажите, по крайней мере, сожалели ли вы когда-нибудь обо мне? Могу ли я довериться тому доброму чувству, что́ побуждает вас сегодня утешать меня? Я слишком хорошо вижу, что вы пленительнее, чем когда-либо; но, во имя всех мук, которые я претерпел за вас, прекрасная Манон, скажите мне, останетесь ли вы верны мне теперь?»

Она наговорила мне в ответ столько трогательных слов о своем раскаянии и поручилась мне столькими клятвами в верности, что смягчила сердце мое беспредельно. «Дорогая Манон,— обратился я к ней, нечестиво перемешивая любовные и богословские выражения,— ты слишком восхитительна для земного создания. Я чувствую, что мною овладевает неизъяснимая отрада. Все, что́ говорится в семинарии о свободе воли — пустая химера [35]. Ради тебя я погублю и свое состояние, и доброе имя, предвижу это; читаю судьбу свою в твоих прекрасных очах; но разве мыслимо сожалеть об утратах, утешаясь твоей любовью! О богатстве я нимало не забочусь; слава мне кажется дымом; все мои планы жизни в лоне Церкви кажутся мне теперь безумными бреднями; словом, все иные блага, кроме тех, что неразлучны с тобою, достойны презрения, разве они

устоят в моем сердце против одного единственного твоего взгляда?»

Однако же, обещая ей полное забвение ее проступка, я пожелал узнать, каким образом могла она соблазниться Б...? Она рассказала, что, увидав ее в окне, он страстно влюбился; что объяснился он с ней, как и подобает откупщику, то есть указав ей в письме, что оплата будет соразмерна с ее ласками; сначала она уступила, но только ради того, чтобы вытянуть от него изрядную сумму, которая могла бы обеспечить нашу жизнь; потом он ослепил ее столь великолепными обещаниями, что она стала падать все ниже и ниже; все же я должен судить о ее угрызениях по ее печали в час нашего расставания; и, несмотря на роскошь, в которой он содержал ее, она никогда не вкусила счастья с ним не только потому, что вовсе не нашла в нем, говорила она, изящества моих чувств и прелести моего обхождения, но потому, что даже в самый разгар удовольствий, которые доставлял он ей беспрестанно, она лелеяла в глубине сердца воспоминание о моей любви и мучилась угрызениями совести. Она рассказала мне о Тиберже и о крайнем смущении, какое причинило ей его посещение. «Удар шпаги в самое сердце менее взволновал бы мою кровь,— прибавила она.— Я вышла из комнаты, не в силах выдержать ни на минуту его присутствие».

Она продолжала рассказывать мне, каким образом узнала о моем пребывании в Париже, о перемене в моей жизни и о занятиях в Сорбонне. По ее уверениям, она настолько была взволнована



К стр. 18



К стр. 46

во время диспута, что ей стоило огромных усилий не только удержать слезы, но даже стоны и крики, которыми не раз готова она была разразиться. Наконец, она сообщила мне, как вышла последней из зала, чтобы скрыть свое расстроенное состояние, и как, следуя только движению сердца и порыву чувств, она явилась прямо в семинарию с решением здесь умереть, если не добьется от меня прощения.

Найдется ли на свете варвар, которого не растрогало бы столь живое и нежное раскаяние? Что до меня, то я чувствовал в эту минуту, что готов пожертвовать ради Манон всеми епархиями христианского мира. Я спросил ее, что же нам теперь делать? Она отвечала, что надо немедленно покинуть семинарию и позаботиться о приискании более надежного убежища. Я согласился на все без возражений. Она села в свою карету, чтобы дождаться меня на перекрестке. Минуту спустя я вышел, незамеченный привратником, и занял место рядом с ней. Мы направились в одежный ряд; я снова облачился в кафтан, опоясался шпагой. Манон платила за все, ибо у меня не было ни гроша; из страха как бы что не помешало мне скрыться из семинарии, она запретила мне возвращаться туда за деньгами. Впрочем, моя казна была не велика, она же достаточно богата щедротами Б..., чтобы пренебречь тем, что я бросал за собой по ее воле. Не выходя из лавки, мы обсудили наши дальнейшие действия.

Дабы я еще более оценил жертву, которую она мне приносила, она решила порвать всякие сно-

шения с Б... «Я оставлю ему всю обстановку,— сказала она,— она принадлежит ему; но, по справедливости, возьму с собою драгоценности, а также около шестидесяти тысяч франков, которые я вытянула у него за два года. Я не связала себя с ним никакими обязательствами,— добавила она,— поэтому мы можем безбоязненно оставаться в Париже, сняв удобное помещение, где и заживем счастливо».

Я возражал ей, что, если для нее и нет опасности, она велика для меня, ибо рано или поздно я буду узнан, и мне постоянно будет угрожать несчастье, которое я уже испытал. Она дала мне понять, что ей жалко было бы покинуть Париж. Я так боялся ее огорчить, что готов был пренебречь любой опасностью в угоду ей. Между тем мы нашли выход из положения: мы снимем дом в какой-нибудь деревне за чертою Парижа, откуда нам легко будет добираться до города всякий раз, как прихоть или нужда призовет нас туда. Мы выбрали Шайо[36], расположенное неподалеку. Манон немедленно отправилась к себе. Я стал поджидать ее у калитки Тюильрийского сада.

Через час она вернулась в наемной карете, с горничной, прислуживавшей ей, и несколькими сундуками, содержавшими ее платья и ценные вещи.

Мы быстро доехали до Шайо и остановились на первую ночь в гостинице, чтобы иметь время подыскать себе дом, или, по крайней мере, квартиру, достаточно удобную. Уже на следующий день нам удалось найти помещение по своему вкусу.

Счастье мое казалось мне сперва неколебимым. Манон была сама нежность, сама приветливость. Ко мне она относилась с такой милой заботливостью, что я считал себя вознагражденным с избытком за все свои страдания. Мы оба приобрели некоторый жизненный опыт и могли лучше судить о размерах нашего состояния. Сумма в шестьдесят тысяч франков, составлявшая основу наших богатств, не могла тянуться всю долгую жизнь. С другой стороны, мы не были расположены слишком стеснять себя в расходах. Бережливость отнюдь не была главной добродетелью Манон, равно как и моей. Я предложил следующий план. «Шестьдесят тысяч франков,— говорил я,— могут поддержать наше существование в течение десяти лет. Если мы останемся жить в Шайо, двух тысяч экю нам будет хватать на год. Мы будем вести жизнь достойную, но простую. Единственною нашей тратой будет содержание кареты и театр. Мы будем расчетливы. Вы любите «Оперу» [37]. Мы станем бывать там два раза в неделю. В игре мы так себя ограничим, чтобы наш проигрыш не превышал никогда двух пистолей. Не может быть, чтобы в течение десяти лет в моем семейном положении не произошло каких-либо перемен; отец мой преклонного возраста, он может умереть. Я получу наследство, и все наши заботы останутся позади».

Такой распорядок помог бы нам жить в достатке, ежели бы мы имели настолько благоразумия, чтобы постоянно ему следовать. Манон страстно любила наряды и развлечения; я был страстно влюблен в нее. То и дело у нас возникали новые

поводы к тратам; нимало не жалея денег, которые она не раз бросала на ветер, я первый готов был доставлять ей все, что только могло ей быть приятно. Да и наше пребывание в Шайо начало ей становиться в тягость.

Приближалась зима; все возвращались в город, деревня пустела. Манон предложила мне переселиться в Париж. Я не соглашался; но, чтобы угодить ей чем-нибудь, я предложил снять в городе меблированные комнаты, где мы могли бы оставаться на ночь, когда случится нам слишком поздно засидеться в собрании, куда мы отправлялись по нескольку раз в неделю; ибо неудобство возвращаться так поздно было предлогом, который она выставляла, желая покинуть Шайо. Итак, мы обзавелись двумя квартирами, одной в городе, другой в деревне. Такая перемена вскоре окончательно запутала наши дела, послужив причиною двух происшествий, которые привели к нашему разорению.

У Манон был брат, служивший в гвардии [28]. К несчастью оказалось, что он живет в Париже на одной улице с нами. Он узнал сестру, увидав ее утром у окна, и немедленно прибежал к нам. То был человек грубый и бесчестный; он вошел в комнату с ужасными проклятиями; и, зная о некоторых приключениях сестры, осы́пал ее руганью и упреками.

За минуту перед тем я вышел из дому, несомненно к счастью для него и для меня, ибо я менее всего был расположен стерпеть оскорбление. Я возвратился уже после его ухода. Печаль Манон выдала мне, что произошло что-то чрезвы-

чайное. Она рассказала мне о прискорбной сцене, какую пришлось ей вынести, и о грубых упреках брата. Я так был возмущен, что готов был немедленно бежать за обидчиком, только слезы ее удержали меня.

Пока мы обсуждали эту встречу, гвардеец без предупреждения снова явился к нам в комнату. Если бы я знал его в лицо, то встретил бы его менее любезно; но, весело нам поклонившись, он успел принести Манон извинения в своей запальчивости; он объяснил, что заподозрил ее в распутстве и эта мысль привела его в ярость; но, расспросив одного из наших слуг, он получил обо мне столь благоприятные сведения, что пожелал завязать с нами добрые отношения.

Хотя расспрашивать обо мне у лакеев было довольно странно и оскорбительно, я вежливо ответил на его приветствие, думая угодить этим Манон. Она казалась в восторге, видя, что он успокоился. Мы оставили его отобедать.

Вскоре он так запросто почувствовал себя у нас, что, услышав о нашем возвращении в Шайо, непременно пожелал нам сопутствовать. Пришлось предоставить ему место в карете. Это был первый шаг, ибо вскоре он так приохотился навещать нас, что стал чувствовать себя у нас как дома и распоряжаться всем как хозяин.

Меня он называл уже братом и, на правах брата, принялся приглашать к нам в Шайо своих приятелей, угощая их за наш счет; сшил себе великолепное платье на наши средства; заставил нас заплатить все свои долги. Я закрывал глаза на такое самоуправство, дабы не причинить огорче-

ния Манон, и даже делал вид, будто не замечаю, как он выпрашивает у нее время от времени значительные суммы денег. Правда, ведя большую игру, гвардеец был настолько честен, что частично возвращал их ей, когда счастье ему улыбалось; но наше состояние было слишком скромным, чтобы долгое время покрывать столь неумеренные траты. Я собирался уже решительно поговорить с ним, чтобы положить конец его навязчивости, когда несчастный случай, избавив меня от одной беды, наслал на нас другую, которая довершила наше разорение.

Однажды, как это часто бывало, мы заночевали в Париже. Служанка, остававшаяся в таких случаях одна в Шайо, явилась ко мне на утро с известием, что ночью в нашем доме вспыхнул пожар и огонь едва удалось потушить. Я спросил, пострадала ли наша обстановка. Она отвечала, что была такая великая суматоха и столько чужого народа сбежалось на помощь, что она ни за что не ручается. В тревоге за наши деньги, которые были заперты в маленьком сундуке, я тотчас же вернулся в Шайо. Напрасно я спешил! — сундучок исчез.

Я понял тогда, что можно любить деньги, не будучи скупым. Неожиданная утрата преисполнила меня такой скорбью, что я опасался за свой рассудок. Я сразу понял, какие новые бедствия ожидают меня. Нищета была меньшим из них. Я достаточно изучил Манон; я знал по горькому опыту, что, как бы она ни была верна и привязана ко мне, когда судьба нам улыбалась, нельзя рассчитывать на нее в беде. Она слишком

любит роскошь и удовольствия, чтобы пожертвовать ими ради меня. «Я потеряю ее! — воскликнул я.— Несчастный! итак, ты вновь теряешь все, что любишь!» Мысль эта повергла меня в столь ужасное смятение, что несколько минут я колебался, не лучше ли покончить разом со всеми бедами, наложив на себя руки.

По счастью, я сохранил еще присутствие духа, чтобы обдумать, не остается ли у меня какого-либо другого выхода. Небу угодно было внушить мне мысль [39], которая удержала меня от отчаяния: мне пришло в голову, что я могу скрыть от Манон нашу потерю, а там моя изобретательность, либо какая-нибудь счастливая случайность помогут мне содержать ее так, чтобы она не почувствовала нужды.

«Я рассчитывал,— утешал я себя,— что двадцати тысяч экю хватит нам на десять лет. Предположим, что десять лет истекли и никаких перемен в моем семейном положении, на которые я надеялся, не произошло. Что бы я предпринял в таком случае? Не знаю толком; но что мне мешает сделать уже теперь то, что мне пришлось бы делать тогда? Сколько людей живет в Париже, не обладая ни моим умом, ни природными дарованиями, и которые тем не менее кормятся в меру своих способностей!»

«Сколь премудро устроило мир провидение! — прибавил я, размышляя о различных жизненных положениях.— Большинство вельмож и богачей — дураки. Это ясно всякому, кто хоть немного знает свет. И в этом заключается великая справедливость. Обладай они и умом и богатством,

они были бы чрезмерно счастливы, остальное же человечество слишком обездолено. Телесные и душевные качества даны в удел бедным, как средства преодолевать свои несчастья и нищету. Одни получают долю в богатстве вельмож, служа их развлечениям: они их дурачат. Другие обучают их наукам: они стараются сделать из них людей достойных; правда, это им редко удается, но не в том цель божественной премудрости: бедняки пожинают плоды своих усилий, живя на средства тех, кого обучают; и, с какой стороны ни посмотреть, глупость богачей и вельмож — превосходный источник дохода для малых сих».

Мысли эти немного успокоили мне сердце и рассудок. Я решил сперва посоветоваться с г-ном Леско, братом Манон. Он в совершенстве знал Париж, и я не раз имел случай убедиться, что ни его личное состояние, ни королевское жалованье не составляют главного источника его дохода. У меня оставалось всего каких-нибудь двадцать пистолей, по счастью уцелевших в моем кармане. Я показал ему кошелек, рассказав о своем несчастье и опасениях, и спросил, есть ли для меня иной выбор, кроме голодной смерти или самоубийства. Он отвечал, что самоубийством кончают одни лишь дураки; что же до голодной смерти, то множество умных людей были в бедственном положении, пока не решались применить свои дарования; мое дело испытать, на что я способен; он же послужит мне помощью и советом во всех моих начинаниях.

«Все это весьма неопределенно, г-н Леско,— сказал я ему; — положение мое требует немед-

ленной помощи, ибо что я скажу Манон?» — «Чем вас смущает Манон? — возразил он.— С ней-то уж вы всегда можете быть спокойны. Такая девица, да она сама должна вас содержать, и вас, и себя, и меня!» Не дав мне по достоинству ответить на эту наглую выходку, он тут же предложил достать до вечера тысячу экю, нам обоим пополам, ежели я последую его совету; он пояснил, что знает одного барина, столь падкого на наслаждения, что он и не задумается заплатить тысячу экю за ласки такой красотки, как Манон.

Я остановил его. «Я был лучшего мнения о вас,— ответил я; — я воображал, что вашей дружбой ко мне руководит чувство прямо противоположное тому, которое сейчас вы обнаружили». Он имел бесстыдство заявить, что всегда держался такого образа мыслей и что, после того как сестра его однажды нарушила законы девичьей чести, хотя бы ради человека, который стал ему лучшим другом, он примирился с нею только в надежде извлечь выгоду из ее дурного поведения.

Мне не трудно было понять, как он дурачил нас до сих пор. Но, сколь ни возмутили меня его речи, нужда в нем побудила меня ответить, смеясь, что его совет я рассматриваю как последнее средство, к которому следует прибегнуть лишь в самом крайнем случае, и прошу его найти какой-нибудь другой выход.

Он предложил мне тогда извлечь выгоду из моей молодости и красоты, дарованной мне природой, и вступить в связь с какой-пибудь богатой и щедрой старухой. Мне не пришелся по вкусу и

этот план, ибо мне претило быть неверным Манон. Я заговорил об игре, как о средстве наиболее легком и подходящем в моем положении. Он согласился, что игра, действительно, может стать источником дохода, однако с некоторой оговоркой; приступить к игре просто с надеждою на выигрыш — верное средство довершить свое разорение; пытаться самостоятельно и без чужой поддержки применять разные мелкие приемы, помогающие при известной ловкости исправлять судьбу,— занятие слишком опасное; есть третий путь — вступить в компанию; однако молодость моя внушает ему опасения, как бы члены Сообщества [40] не нашли бы меня неспособным для участия в лиге. Тем не менее он обещал мне свою рекомендацию и, чего уж я никак не ожидал от него, предложил и некоторую денежную помощь в случае крайней нужды. Единственная услуга, о которой я попросил его в нынешних обстоятельствах, было ни слова не говорить Манон ни о моей потере, ни о предмете нашей беседы.

Я вышел от него еще более расстроенный, чем прежде; я даже раскаивался, что доверил ему свою тайну. Он не посоветовал мне решительно ничего, что могло бы помочь нам в беде, и я смертельно боялся, что он нарушит обещание — ничего не говорить Манон. Узнав его истинные чувства, я опасался также и того, как бы он не осуществил высказанного им намерения извлечь из Манон выгоду, вырвав ее из моих рук или, в крайнем случае, дав ей совет покинуть меня ради какого-нибудь богатого и более удачливого любовника. Неотступные размышления на эту тему

только усилили мои муки и вновь довели меня до отчаяния, в котором я пребывал все утро. Несколько раз приходило мне в голову написать отцу и новым притворным раскаянием добиться от него денежной помощи; но я тотчас же вспоминал, как, при всей своей доброте, он полгода продержал меня в тесной темнице за первый мой проступок: я был вполне уверен, что после скандального побега из семинарии он обойдется со мною еще суровее.

В конце концов в смятенном моем состоянии меня осенила мысль, которая сразу принесла мне успокоение, и я не понимал даже, как она раньше не пришла мне на ум: мысль эта состояла в том, чтобы прибегнуть к моему другу Тибержу, в котором я не сомневался всегда найти то же горячее дружеское участие. Нет ничего более восхитительного, и ничто не делает большей чести добродетели, чем доверие к людям, честность которых заведомо известна; знаешь, что обращаясь к ним, можно ничего не опасаться: если они и не в состоянии предложить помощь, можно быть уверенным, по крайней мере, что всегда встретишь с их стороны доброту и сочувствие. И сердце, которое так старательно замыкается перед остальными людьми, непроизвольно раскрывается в их присутствии, подобно цветку, распускающемуся под благотворным влиянием ласковых лучей солнца.

Я узрел божественный промысел в том, что так кстати вспомнил о Тиберже, и решил изыскать средства увидеться с ним еще до вечера. Я немедленно вернулся домой, чтобы написать ему

записку и назначить место встречи. Я просил его держать все в строгой тайне, что́ являлось самой важной услугой в моем положении.

Радость, внушаемая мне надеждой увидаться с ним, сгладила черты скорби, которые Манон не преминула бы заметить на моем лице. Я сообщил ей о нашем несчастье в Шайо, как о пустяке, который не должен ее тревожить; и, так как Париж был местом всегдашних ее мечтаний, она не выразила никакой досады, что нам придется остаться здесь до тех пор, покуда в Шайо не исправят нескольких незначительных повреждений, причиненных пожаром.

Час спустя я получил ответ от Тибержа; он обещал прийти в назначенное место. Я устремился туда с нетерпением. Мне было, правда, очень стыдно показаться на глаза другу, одно присутствие коего было живым укором моей распущенности; но уверенность в доброте его сердца и забота о Манон поддерживали во мне мужество.

Я просил его ожидать меня в саду Пале-Рояля [41]. Он был уже там до моего прихода. Едва увидев меня, Тиберж бросился в мои объятия. Он долго не выпускал меня из рук, и слезы его оросили мое лицо [42]. Я сказал, что мне совестно встретиться с ним и я горько раскаиваюсь в своей неблагодарности; что прежде всего заклинаю его сказать мне, смею ли я еще считать его другом после того, как, по всей справедливости, заслужил утрату его уважения и любви. Он отвечал мне в самых ласковых выражениях, что ничто не может побудить его отказаться от этой дружбы; что

самые мои несчастья и, если позволено ему будет сказать, мои заблуждения и мое паденне усугубили его нежность ко мне; но нежность его смешана с живейшей скорбью, какую естественно испытываешь, когда дорогой человек гибнет у тебя на глазах, а ты не в силах помочь ему.

Мы присели на скамью. «Увы! — сказал я с глубоким вздохом,— состраданье ваше должно быть чрезмерно, дорогой мой Тиберж, если, как уверяете вы, оно равняется моим мучениям. Стыжусь раскрыть их перед вами, ибо признаюсь, что они вызваны недостойной причиной; однако последствия столь печальны, что растрогают даже тех, кто любит меня меньше вашего».

Он попросил меня рассказать ему откровенно, в знак нашей дружбы, все, что произошло со мною со времени моего исчезновения из семинарии. Я удовлетворил его любопытство и, не пытаясь искажать истину или оправдываться в своих ошибках, рассказал историю любви моей со всей страстью, какую она мне внушала. Я изобразил ее, как один из тех ударов судьбы, которые влекут человека к гибели и от которых добродетель столь же бессильна защититься, сколь бессильна мудрость их предусмотреть. Я набросал перед ним живую картину моих терзаний, опасений, отчаяния, которое я пережил за два часа до встречи с ним и которое опять ждет меня, если друзья так же безжалостно отвернутся от меня, как отвернулась судьба; в конце концов я так разжалобил моего доброго Тибержа, что скорбь его обо мне сравнялась с собственною моей скорбью.

Он неустанно обнимал, ободрял и утешал меня; но, так как он все время настаивал на моем разлучении с Манон, я дал ему ясно понять, что считаю именно разлуку с ней величайшим несчастьем и готов лучше претерпеть не только самую крайнюю степень нужды, но даже жесточайшую смерть, нежели принять лекарство более невыносимое, чем все мои беды вместе взятые.

«Объясните же мне,— сказал он,— какого рода помощь в состоянии я вам оказать, если вы восстаете против всех моих предложений?» У меня не хватило духа признаться, что я нуждаюсь в помощи его кошелька. Наконец, он сам догадался об этом; и, признавшись, что, кажется, понял меня, несколько времени молчал с видом человека, колеблющегося между двумя решениями. «Не думайте,— заговорил он опять,— что моя задумчивость проистекает от охлаждения дружбы; но перед каким выбором вы меня ставите, если я должен либо отказать вам в единственной помощи, какую вам угодно принять, либо нарушить свой долг, предоставив ее вам: ибо не значит ли принять участие в вашей безнравственной жизни, способствуя вашему в ней упорству?»

«Вместе с тем,— продолжал он после минутного раздумья,— я представляю себе, что, быть может, именно нужда вас повергает в то неистовое состояние, которое лишает вас свободы лучшего выбора. Лишь при душевном спокойствии можно оценить мудрость и истину. Я найду средства оказать вам денежную помощь. Разрешите только, дорогой мой кавалер,— прибавил он, обнимая меня,— поставить вам одно условие:

вы откроете мне место вашего пребывания и не отвергнете моих стараний обратить вас на путь добродетели, которую, знаю, вы любите и от которой лишь неистовство страстей вас отвращает».

Я искренно согласился на все его требования и просил его пожалеть о злой моей участи, которая понуждает меня столь дурно следовать советам достойнейшего друга. Затем он проводил меня к знакомому банкиру, который выдал мне сто пистолей под его вексель, ибо наличных денег у него вовсе не было. Я уже говорил, что он был небогат. Его бенефиций исчислялся в тысячу экю; но, так как он пользовался им первый год, то не имел еще от него никакого дохода: эти деньги одолжил он мне в счет будущих благ.

Я живо почувствовал всю цену его щедрости. Тронутый до слез, я оплакивал ослепление роковой любви, которая понудила меня нарушить все мои обязанности. На несколько мгновений добродетель возымела довольно силы, дабы восстать в сердце моем против страсти, и, по крайней мере в эту минуту просветления, я сознал весь стыд недостойных моих оков; но борьба была легка и длилась недолго. Один взгляд Манон мог бы низвергнуть меня даже с небес, и я дивился, вновь находясь подле нее, как мог я хотя бы на мгновение устыдиться столь естественной нежности к созданию столь пленительному.

Манон обладала удивительным нравом. Ни одна девица не была так мало привязана к деньгам, как она; но она теряла все свое спокойствие, едва только возникало опасение, что их может не хватить. Она жила удовольствиями и развлече-

ниями и не желала тратить ни гроша, если можно было повеселиться даром. Ее даже не занимало, каково состояние нашего кошелька, лишь бы только провести день приятно; она не предавалась чрезмерной игре, не обольщалась пышностью огромных трат, и не было ничего легче, как удовлетворять ее день за днем новыми забавами по ее вкусу. Но развлечения для нее были столь необходимы, что без них положительно нельзя было быть уверенным в ее настроении и рассчитывать на ее привязанность. Меня она любила нежно, я даже был единственным человеком, по ее собственному признанию, с которым она могла вкушать полную сладость любви, и все-таки я был почти убежден, что чувство ее не устоит, раз в ней зародятся известные опасения. Обладай я хотя бы средним достатком, она предпочла бы меня всему миру; но я нимало не сомневался, что буду покинут ради какого-нибудь нового Б..., как только не смогу предложить ей ничего иного, кроме постоянства и верности.

Поэтому решил я настолько сократить личные свои расходы, чтобы всегда быть в состоянии оплачивать ее собственные, и лучше уж отказывать себе во всем необходимом, нежели ограничивать ее даже в излишествах. Более всего пугала меня карета, ибо я не усматривал никакой возможности содержать лошадей и кучера.

Я сообщил о своих затруднениях г-ну Леско. Я не скрыл от него, что получил сто пистолей от одного друга. Он повторил, что, если я желаю попытать счастья в игре, он не сомневается, что, пожертвовав, не скупясь, сотней франков в об-



К стр. 79



К стр. 108

шую кассу, я смогу быть принят по его рекомендации в Сообщество ловких игроков. И при всем моем отвращении к обману жестокая необходимость заставила меня согласиться.

В тот же вечер г-н Леско представил меня приятелям как своего родственника. Он присовокупил, что я особенно рассчитываю на успех, ибо нуждаюсь в самых больших милостях Фортуны. В то же время, желая показать, что я не нищий, он заявил, что я намереваюсь накормить всех ужином. Предложение было принято. Я угостил всех великолепно. Только и было разговоров, что о моем изяществе и природных данных. Решили, что от меня многого можно ожидать, потому что в чертах лица моего столько благородства, что никому и в голову не придет заподозрить меня в плутовстве. В заключение все поздравляли г-на Леско с завербованием в орден столь достойного новобранца и поручили одному из рыцарей преподать мне необходимое обучение в течение ближайших дней.

Главной ареной моих подвигов был Трансильванский дворец [43], где в одной из зал был стол для фараона, а в галерее играли в другие карточные игры и в кости. Сей игорный дом принадлежал принцу Р..., жившему тогда в Кланьи а большинство его офицеров входили в наше общество. Стыжусь признаться, но в скором времени я воспользовался уроками своего учителя. Особенную ловкость приобрел я в вольтфасах, в подмене карты; при помощи пары длинных манжет, я легко морочил самый проницательный взгляд и преспокойно разорял множество честных

игроков. Исключительная моя ловкость столь быстро увеличила наше состояние, что месяца через два я распоряжался солидной суммой денег, помимо тех, которыми щедро делился со своими сообщниками.

Я уже не боялся рассказать Манон о нашей потере в Шайо и, чтобы утешить ее в такой неприятной новости, снял меблированный дом, где зажили мы пышно и беспечно.

Все это время Тиберж продолжал часто навещать меня. Он не оставлял нравственного попечения обо мне. Он непрестанно изображал мне, какой ущерб я наношу своей совести, чести, положению. Я дружески принимал его доводы и, хотя ни мало не был расположен им следовать, чувствовал к нему признательность за его рвение, ибо мне ведом был его источник. Не раз я добродушно подсмеивался над ним в присутствии самой Манон и увещевал не превосходить щепетильностью великого множества епископов и иных прелатов, отлично согласующих любовницу с бенефицием. «Взгляните только,— говаривал я ему, указывая на очи моей возлюбленной,— и скажите, есть ли такие проступки, которые не были бы оправданы столь прелестною причиною?» Он набирался терпения. Казалось, и пределов ему не было; однако, видя, что богатства мои множатся и что я не только вернул ему сто пистолей, но, сняв новый дом и удвоив расходы, погрузился в бо́льшие, чем когда-либо, наслаждения, он резко изменил свой тон и обхождение. Он сокрушался моим упорством, угрожал небесною карой и предрекал мне грядущие несчастия, которые и не за-

медлили воспоследовать. «Немыслимо,— говорил он,— чтобы богатства, служащие поддержкою вашему беспутству, достались вам путями законными. Вы приобрели их неправдою, и так же отнимутся они от вас. Ужаснейшим наказанием божиим было бы предоставить вам пользоваться ими спокойно. Все советы мои,— добавил он,— были вам бесполезны; слишком ясно предвижу, что скоро они станут назойливы для вас. Прощайте, неблагодарный и слабый друг! да исчезнут, как тень, преступные ваши утехи! да сгинут без остатка ваше благополучие и деньги, вы останетесь сир и нищ, дабы восчувствовать тщету благ, кои опьяняли вас безумно! и тогда обретете вы во мне друга и помощника; отныне порываю я всякие с вами сношения и презираю жизнь, которую вы ведете».

Сию апостолическую проповедь произнес он у меня в комнате, в присутствии Манон. Он поднялся, намереваясь удалиться. Я хотел его удержать, но меня остановила Манон, воскликнув, что это сумасшедший, которого нужно выпроводить.

Его речь произвела на меня некоторое впечатление. Так отмечаю я разные случаи, когда в сердце мое возвращалось стремление к добру, ибо этим минутам обязан я был впоследствии известною долей той силы, с какою переносил самые горестные испытания своей жизни.

Ласки Манон рассеяли в одно мгновение печаль, причиненную мне тяжелой сценой. Мы продолжали вести жизнь, полную удовольствий и любви; увеличение нашего богатства усугубило взаимную нашу привязанность. Венера и форту-

па никогда не имели рабов более счастливых и нежных. Боже, возможно ли именовать мир юдолью скорби, раз в нем дано вкушать столь дивные наслаждения! Но, увы! слабая их сторона в их быстротечности; какое иное блаженство можно было бы им предпочесть, если бы по природе своей они были вечны? И наши наслаждения постигла общая участь, то есть длились они недолго и имели последствием горькие сокрушения.

Мой выигрыш был уже столь значителен, что я раздумывал, куда бы поместить часть своих денег. Прислуга наша не была в неведении относительно моих успехов, особенно мой камердинер и горничная Манон, в присутствии которых мы часто беседовали, не стесняясь. Девица была красива. Лакей мой в нее влюбился. Они имели дело с господами молодыми и беспечными, которых, воображали они, весьма легко обмануть. Они составили план и выполнили его к несчастью столь успешно, что поставили нас в такое положение, из которого нам так никогда и не удалось выбраться.

Однажды, после ужина у г-на Леско, мы вернулись домой около полуночи. Я кликнул своего лакея, Манон — горничную; ни тот, ни другая не явились на зов. Нам доложили, что их не видели в доме с восьми часов, и что они вышли, вынесши наперед несколько сундуков, якобы по моему распоряжению. Я сразу же заподозрил некоторую долю истины, но то, что обнаружил я, войдя в комнату, превзошло все мои опасения. Замок моего шкафа был взломан, и все деньги похищены вместе со всею одеждой. Покуда я со-

бирался с мыслями, Манон прибежала вне себя с сообщением о таковом же грабеже в ее комнате.

Удар был столь жесток, что лишь чрезвычайным усилием воли мне удалось удержаться от криков и слез. Из боязни как бы мое отчаяние не передалось Манон, я принял внешне спокойный вид. Я шутливо сказал ей, что отыграюсь на каком-нибудь простофиле в Трансильванском дворце. Между тем она показалась мне столь расстроенной нашим несчастием, что скорбь ее гораздо сильнее удручила меня, нежели моя притворная веселость могла ее утешить. «Мы погибли»,— произнесла она со слезами на глазах. Тщетно старался я успокоить ее нежными ласками. Мои собственные слезы выдавали мое отчаяние и тоску. Действительно, мы были настолько разорены, что у нас не оставалось и рубашки.

Я решил тотчас же послать за г-ном Леско. Тот посоветовал мне немедленно отправиться к начальнику полиции и к главному судье Парижа. Я пошел, но к моему величайшему несчастию: ибо, помимо того, что эта попытка, равно как и все старания, предпринятые по просьбе моей обоими блюстителями правосудия, не привела ни к чему, я дал время Леско переговорить с сестрой и внушить ей за мое отсутствие ужасное решение. Он рассказал ей о г-не де Г... М..., старом сластолюбце, который платит за свои удовольствия, не жалея денег; брат представил ей столько выгод поступить к нему на содержание, что, совершенно удрученная нашим несчастием, она уступила его убеждениям. Недостойная сделка была заключена до моего возвращения, а исполнение отложе-

но на завтра, дабы Леско успел предупредить г-на де Г... М...

Леско поджидал моего возвращения; но Манон уже улеглась в своей комнате, наказав лакею передать мне, что нуждается в отдыхе и просит не беспокоить ее эту ночь. Леско, прощаясь со мною, предложил мне несколько пистолей, которые я принял.

Было почти четыре часа, когда я лег в постель; я долго еще раздумывал, какими средствами восстановить наше благосостояние и задремал так поздно, что проснулся лишь около одиннадцати или двенадцати часов дня. Я поскорее встал, чтобы пойти спросить о здоровье Манон; мне доложили, что она вышла час тому назад вместе с братом, который приехал за ней в наемной карете. Хотя эта прогулка с Леско показалась мне загадочной, я принудил себя отложить на время свои подозрения. Протекло несколько часов, которые я провел за чтением. Наконец, не в силах совладать с беспокойством, я стал большими шагами прохаживаться взад и вперед по комнатам. На столе в спальне Манон мне бросилось в глаза запечатанное письмо. Оно было адресовано ко мне, рука — ее. Я вскрыл его с замиранием сердца. Оно гласило:

«Клянусь тебе, дорогой мой кавалер, что ты кумир моего сердца и лишь тебя на всем свете могу я любить так, как люблю, но не очевидно ли тебе самому, бедный мой друг, что в нашем теперешнем положении верность — глупая добродетель? Думаешь ли ты, что можно быть нежным, когда не хватает хлеба? Голод толкнул бы

меня на какую-нибудь роковую ошибку; однажды я испустила бы последний вздох, думая, что то вздох любви. Я тебя обожаю по-прежнему, положись на меня, но предоставь мне на некоторое время устроение нашего благополучия. Горе тому, кто попадется в мои сети! Я задалась целью сделать моего кавалера богатым и счастливым. Брат сообщит тебе новости о твоей Манон и о том, как она огорчена, что вынуждена тебя покинуть».

Затрудняюсь описать свое состояние после прочтения этого письма, ибо и поныне не ведаю, какого рода чувствами был я тогда одержим. То были ни с чем не сравнимые муки, подобных которым никому не приходилось испытывать; их не удастся объяснить другим, потому что другие не имеют о них никакого представления, да и самому трудно в них разобраться, ибо, будучи единственными в своем роде, они не связываются ни с какими воспоминаниями и не могут быть сближены ни с одним знакомым чувством. Но, какой бы природы ни было мое состояние, достоверно одно, что в него входили чувства горя, досады, ревности и стыда. О, если бы еще в большей степени сюда не примешивалась любовь!

«Она меня любит, хочу этому верить; да ведь надо быть чудовищем, чтобы меня ненавидеть! — воскликнул я.— Существуют ли в мире такие права на чужое сердце, какими я не обладал бы по отношению к ней? Что я мог еще сделать после всего того, чем я пожертвовал для нее? И вот, она меня покидает, и, неблагодарная, считает себя защищенной от моих упреков, ибо, как

говорит, любит меня по-прежнему! Она страшится голода: о, бог любви! что за грубость чувств, и как это противоречит моей собственной нежности! Я не страшился голода, когда готов был подвергнуться ему ради нее, отказавшись от своего состояния и от радостей отчего дома; я, который урезáл себя до последних пределов, лишь бы удовлетворять ее малейшие прихоти и капризы! Она меня обожает, говорит она. Ежели бы ты обожала меня, неблагодарная, я знаю, к кому бы ты обратилась за советом; ты бы, по крайней мере, не покинула меня, не попрощавшись. Мне лучше всех известно, сколь жестокие страдания испытываешь, расставаясь с предметом своего обожания. Только потеряв разум, можно пойти на это добровольно». Мои жалобы были прерваны посещением, которого я не ожидал: явился Леско. «Палач! — вскричал я, хватаясь за шпагу,— где Манон? Что сделал ты с нею?» Мое движение испугало его; он отвечал, что, если я оказываю ему такой прием, когда он является отдать мне отчет в самой значительной услуге, какую он мог мне оказать, он тотчас же удалится, и никогда нога его не переступит моего порога. Я бросился к дверям и запер их накрепко. «Не воображай,— сказал я, поворачиваясь к нему,— что тебе удастся снова оставить меня в дураках и обморочить своими баснями; защищай свою жизнь или верни мне Манон».— «Не спешите, любезнейший,— возразил он.— Ведь ради этого только я и пришел сюда. Собираюсь вам возвестить счастие, о котором вы и не помышляете, и когда-нибудь вы, быть может, признаете себя

мне обязанным». Я потребовал немедленных разъяснений.

Он рассказал мне, как Манон, не в силах вынести страха перед нищетою, особенно же мысли о том, что мы должны будем сразу изменить весь уклад жизни, просила его устроить ей знакомство с г-ном де Г... М..., который славится своей щедростью. Он не постеснялся мне сказать, что совет исходил от него, и что он сам подготовил все пути, прежде чем проводить ее туда. «Я отвез ее к нему сегодня утром,— продолжал он,— и сей достойный человек был столь ею очарован, что тут же пригласил ее ехать с ним в его поместье, где собирается провести несколько дней. Сразу раскусив,— прибавил Леско,— какую выгоду можно отсюда извлечь для вас, я ловко дал ему понять, что Манон понесла значительные потери, и настолько затронул его щедрость, что он первым делом подарил ей двести пистолей. Я сказал ему, что на первых порах это недурно, но будущее сулит моей сестре большие траты; что к тому же на ней лежит забота о юном братце, оставшемся у нас на руках после смерти родителей, и что если она достойна его уважения, он не допустит, чтобы она тосковала о бедном ребенке, чью судьбу она не отделяет от своей. Рассказ мой его растрогал. Он обязался нанять удобный дом для вас и для Манон: ведь бедный братец-сиротка — это вы сами; обещал снабдить дом приличной обстановкой и положить Манон ежемесячное содержание в четыре сотни ливров, что́ будет составлять, по моему расчету, четыре тысячи восемьсот к концу каждого года. Прежде

чем уехать в деревню, он дал распоряжение своему управляющему подыскать дом и сделать все приготовления к своему возвращению. И тогда вы снова увидитесь с Манон, которая поручила мне поцеловать вас за нее тысячу раз и заверить, что она любит вас более, нежели когда-либо».

Я опустился в кресло, задумавшись о странной моей участи; противоположные чувства обуревали меня, вследствие чего я находился в таком состоянии неуверенности, что долгое время оставлял без ответа сыпавшиеся на меня вопросы Леско. В это мгновение честь и добродетель вновь пробудили во мне голос совести, и я со вздохом оглянулся на прошлое: на Амьен, на родительский дом, на семинарию Сен-Сюльпис, на все места, где жил я непорочным. Какая бездна отделяла меня от этого блаженного бытия! Я видел его издалека, как некую смутную тень, привлекавшую еще мои сожаления и желания, но слишком слабую для того, чтобы возбудить мои усилия. «Какая роковая судьба сделала меня столь преступным? Любовь — страсть невинная: каким же образом превратилась она во мне в источник бедствия и разврата? Кто мешал мне жить спокойно и добродетельно вместе с Манон? Почему не женился я на ней, прежде чем получить залог ее любви? Неужели же нежно любящий меня отец не согласился бы на мои законные настояния? Ах! отец сам миловал бы прелестную девицу, вполне достойную быть женой его сына; я был бы счастлив любовью Манон, любовью отца, уважением достойных людей, благами фортуны и покоем добродетельной жизни. О, пагубный обо-

рот судьбы! Кто этот негодяй, которого подыскали для Манон? Как! делиться с ним?.. Но могу ли я колебаться, раз сама Манон это устроила, и раз я потеряю ее, ежели не уступлю? «Г-н Леско,— вскричал я, закрывая глаза, как бы с целью отогнать горестные мысли,— если вы намеревались мне услужить, приношу вам благодарность; конечно, вы могли бы избрать путь почестнее; но дело сделано, не правда ли? Так подумаем же, как воспользоваться вашими стараниями и привести в исполнение ваш план».

Леско, которого смутили мой гнев и последовавшее за ним долгое молчание, пришел в восторг от моего решения, совершенно расходящегося с тем, чего он несомненно опасался; он вовсе не был храбрецом, впоследствии я получил тому наилучшие доказательства. «Да, да,— поспешил он мне ответить,— я оказал вам очень большую услугу, и вы увидите, что мы извлечем отсюда еще больше выгод, чем вы ожидаете». Мы стали обдумывать, каким образом предотвратить подозрения, которые может возыметь г-н де Г... М... относительно наших родственных связей, когда окажется, что я и ростом выше, да и несколько постарше, быть может, чем он воображает. Мы не нашли лучшего способа, как принять перед ним вид деревенского простака и уверить его, что я готовлюсь к духовному сану и с этой целью ежедневно посещаю коллеж. Решили также, что я оденусь похуже, представ впервые пред его ясные очи.

Он вернулся в город спустя два или три дня и лично проводил Манон в дом, приготовленный для

нее управляющим. Она тотчас же послала уведомить Леско о своем возвращении, тот известил меня, и вдвоем мы отправились к ней. Старый поклонник уже ушел от нее.

Несмотря на покорность, с которой я подчинился ее желаниям, я не мог подавить ропота сердца, снова увидев ее. Я был в печали и тоске; радость свидания не могла вполне заслонить горя от ее неверности. Она, напротив, казалась в восторге от моего прихода и упрекала меня в холодности. Я же не мог удержаться, чтобы не назвать ее коварной и неверной, сопровождая слова свои тяжкими вздохами.

Сначала она подсмеивалась над моей наивностью; но, вглядываясь в мои печальные взоры и видя, с каким трудом переживаю я перемену, столь несовместную с моим характером и желаниями, она удалилась к себе; минуту спустя я последовал за нею. Я нашел ее всю в слезах, я спросил ее о причине. «Она не может быть не ясна тебе,— сказала она,— стоит ли мне жить, если вид мой более не доставляет тебе ничего, кроме страданий и горя? Ведь ты ни разу не приласкал меня в течение часа, что находишься здесь, мои же ласки ты принимаешь с величием султана в серале».

«Послушайте, Манон,— ответил я, обнимая ее,— не могу скрыть от вас, что сердце мое удручено смертельно. Не говорю сейчас ни о тревоге, вызванной вашим непредвиденным бегством, ни о жестокости, с коей покинули вы меня без слова утешения, проведя ночь не на одном ложе со мною: в вашем присутствии я готов по-

забыть и горшие обиды. Но полагаете ли вы, что я могу думать без вздохов и без рыданий,— продолжал я, проливая слезы,— о жалкой и несчастной участи, уготованной мне в этом доме? Не будем говорить о высоком происхождении моем и чувстве чести; все это доводы слишком слабые, чтобы вступать в соревнование с моей любовью; но самая любовь, неужели вы не чувствуете, как стонет она, оскорбленная и истерзанная неблагодарною и жестокою возлюбленной?..»

Она прервала меня.— «Послушайте, мой кавалер,— сказала она,— бесполезно тревожить меня упреками, которые, исходя от вас, пронзают мне сердце. Вижу, что́ вас оскорбляет. Я надеялась, что вы согласитесь на мой план восстановления нашего благосостояния, и, только щадя вашу щепетильность, я приступила к его выполнению без вашего участия; но, раз вы его не одобряете, я отказываюсь от него». Она прибавила, что просит меня только обождать до конца дня; что уже получила двести пистолей от влюбленного старика; что вечером он обещал ей принести великолепное жемчужное ожерелье и другие драгоценности, а сверх того половину обещанного ей годового содержания. «Дайте мне только время,— говорила она,— получить эти подарки; клянусь, что ему не придется хвастаться своими любовными победами, ибо я отсрочила их до возвращения в город. Правда, он миллион раз целовал мои руки; справедливость требует, чтобы он оплатил это удовольствие, и пять или шесть тысяч франков не будет чрезмерной ценой, принимая во внимание его богатство и возраст».

Ее решение было для меня гораздо отраднее, нежели надежда на пять тысяч ливров. Я понял, что еще не совсем утратил чувства чести, раз я испытываю такое удовлетворение, избавляясь от позора [44]. Но я рожден был для кратких радостей и для долгих страданий. Фортуна спасла меня от одной пропасти лишь затем, чтобы низвергнуть в другую. Осыпав Манон нежными ласками и выразив, насколько осчастливило меня ее обещание, я сказал, что необходимо предупредить г-на Леско, дабы согласовать наши действия. Сначала он поворчал; но четыре или пять тысяч ливров звонкой монетой побудили его охотно пойти навстречу нашим планам. Было решено, что все мы отужинаем вместе с г-ном де Г... М..., и по двум причинам: во-первых, чтобы не лишить себя удовольствия разыграть забавную сцену со школяром, братом Манон; во-вторых, чтобы помешать старому развратнику слишком вольничать с моей возлюбленной по праву, приобретенному им столь щедрым задатком. Мы с Леско должны будем удалиться, когда он отправится в комнату, где располагает провести ночь, а Манон, вместо того, чтобы последовать за ним, обещала выйти из дому и провести ночь со мною. Леско взял на себя заботы о том, чтобы карета была наготове.

Настал час ужина. Г-н де Г... М... не заставил себя ждать. Леско с сестрой были в зале. Вместе с первым приветствием старик преподнес своей красавице жемчужное ожерелье, браслеты и серьги стоимостью по меньшей мере в тысячу экю. Вслед за ним он отсчитал чистым золотом сумму в две тысячи четыреста ливров, что составляло

половину ее годового содержания. Свой подарок он приправил изрядным количеством нежностей с галантностью вельможи старого двора. Манон не могла ему отказать в нескольких поцелуях; тем приобретала она права на деньги, которые он ей вручал. Я стоял за дверью и прислушивался, ожидая, когда Леско сделает знак мне войти.

Он явился за мной, как только Манон припрятала деньги и драгоценности; подведя меня за руку к г-ну де Г... М..., он велел мне склониться пред ним. Я отвесил два-три глубочайших поклона. «Простите его, сударь, за неотесанность,— обратился к нему Леско.— Как видите, он мало знаком со столичными манерами; но мы надеемся, что немного навыка, и он образуется. Вы будете иметь честь часто видеть здесь г-на де Г.. М...,— прибавил он, повернувшись ко мне;— учитесь, глядя на него».

Старого волокиту, казалось, немало позабавил мой вид. Он потрепал меня по щеке, объявив, что я хорошенький мальчик, но должен держать ухо востро в Париже, где молодежи ничего не стоит загулять. Леско стал уверять его, что я от природы столь благоразумен, что только и говорю о том, как сделаюсь священником, и больше всего люблю мастерить часовенки [45]. «Я нахожу в нем сходство с Манон»,— сказал старик, беря меня за подбородок. Я отвечал с простоватым видом: «Это оттого, сударь, что мы очень близки друг с другом, и я люблю сестрицу Манон, как самого себя». «Слышите? — сказал он Леско.— Он не дурак. Жаль, что этот юнец мало видит людей».—

«О! сударь,— возразил я,— у нас в церквах я достаточно их насмотрелся и уверен, что найду в Париже дураков почище меня».— «Смотрите! — прибавил он,— ведь это восхитительно для деревенского паренька».

Вся наша беседа за ужином шла приблизительно в том же тоне. Хохотунья Манон несколько раз чуть не испортила нам все дело неуместными взрывами смеха. Я воспользовался случаем за столом рассказать старику его собственную историю и грозившую ему злую участь. Леско и Манон трепетали во время моего рассказа, особенно когда я нарисовал его портрет весьма схожим; однако самолюбие помешало ему узнать в нем себя, и я так ловко закончил рассказ, что он первый нашел его презабавным. Вы увидите далее, что не без оснований я распространился о сей веселой сцене.

Наконец, пришла пора спать, и старик заговорил о своем любовном нетерпении. Мы с Леско удалились. Старика проводили в его комнату, а Манон, выйдя под каким-то предлогом, присоединилась к нам у дверей. Карета, поджидавшая нас тремя или четырьмя домами дальше, подкатила нам навстречу. Через минуту мы были уже далеко.

Хотя в моих глазах наш поступок был настоящим мошенничеством, он еще не был самым бесчестным из тех, за какие я считал нужным себя упрекать. Я больше стыдился денег, приобретенных игрою в карты. Впрочем, нам не пошло впрок ни то, ни другое, и небу было угодно более легкое из двух мошенничеств наказать более сурово.

Г-н де Г... М... не замедлил сообразить, что его одурачили. Не знаю, предпринял ли он уже в тот вечер какие-либо шаги, чтобы нас обнаружить; но он имел достаточно связей, чтобы поиски увенчались быстрым успехом, мы же слишком беспечно полагались на многолюдность Парижа и на удаленность нашего квартала от того, где он проживал. Он не только очень скоро получил сведения о нашем местопребывании и наших обстоятельствах, но разузнал также про то, кто я таков, про мой образ жизни в Париже, про прежнюю связь Манон с Б..., про то, как она его обманула, одним словом, про все скандальные страницы нашей истории. Тогда он решил добиться нашего ареста, настаивая, чтобы нас судили не столько как уголовных преступников, сколько как отъявленных развратников. Мы были еще в постели, когда к нам в комнату вошел полицейский офицер с полдюжиной стражников. Прежде всего они отобрали наши деньги, или вернее деньги г-на де Г... М... и, подняв нас с постели, вывели наружу, где уже стояли две кареты, в одну из которых была посажена без всяких объяснений бедняжка Манон, а в другой я был отвезен в исправительную тюрьму Сен-Лазар [46].

Не испытав таких превратностей судьбы, нельзя судить об отчаянии, в которое они повергают. Стражники имели жестокость не позволить мне ни обнять Манон, ни перемолвиться с ней хоть словом. Долгое время я оставался в неведении, что с ней случилось. Было, несомненно, счастием для меня, что я не сразу об этом узнал, ибо

столь ужасная катастрофа лишила бы меня рассудка, а быть может и жизни.

Несчастная моя возлюбленная была увезена на моих глазах и препровождена в такое место, само название которого приводит меня в ужас [47]. Какова участь для очаровательного создания, достойного занять первый престол мира, если бы все люди имели мои глаза и мое сердце! С нею не обращались там по-варварски, но она была заключена в тесную одиночную камеру и осуждена выполнять ежедневную урочную работу, чтобы получать жалкую порцию отвратительной пищи. Я узнал о сей печальной подробности лишь спустя долгое время после того, как и я претерпел суровое и томительное наказание. Не подозревая о месте моего будущего заключения, я узнал свою участь лишь в воротах Сен-Лазара. В ту минуту я предпочел бы смерть тому, что́ меня там ожидало. У меня были самые жуткие представления об этом доме. Мой ужас усилился, когда при входе стража вторично обыскала мои карманы, чтобы убедиться, что у меня не осталось оружия и иных средств сопротивления.

Тотчас же появился настоятель, предупрежденный о моем прибытии. Он весьма приветливо встретил меня. «Отец мой,— обратился я к нему,— я требую достойного со мной обращения; я предпочту тысячу смертей одной единственной грубости» [48].— «Нет, что вы, что вы, сударь,— отвечал он,— вы будете вести себя благоразумно, и мы окажемся довольны друг другом». Он пригласил меня подняться в верхнюю камеру. Я послушно последовал за ним. Солдаты сопровождали

нас до самых дверей; войдя со мной в камеру, настоятель сделал им знак удалиться.

«Итак, я ваш пленник? — сказал я.— Ну, хорошо! отец мой, что же вы намереваетесь делать со мною?» Он отвечал, что радуется моему благоразумию; что на нем лежит долг внушить мне влечение к добродетели и религии, на мне же — воспользоваться его увещеваниями и советами; что, буде я пойду навстречу его заботам обо мне, я обрету в своем уединении одни лишь утехи. «Ах! утехи,— возразил я; — вы не ведаете, отец мой, единственного предмета, который может мне их доставить!» — «Знаю,— возразил он,— однако надеюсь, что склонности ваши изменятся». По его ответу я понял, что он осведомлен о моих приключениях, а, может быть, также и о моем имени. Я попросил разъяснения. Он отвечал мне просто, что ему все уже известно. Весть эта была самым жестоким мне наказанием. Слезы градом полились из глаз моих, и я предался ужаснейшему отчаянию. Я страдал от унижения, которое сделает меня притчей во языцех всех моих знакомых и позором моей семьи. Так провел я неделю в глубоком унынии, не в силах ничего выслушивать, ни думать ни о чем, кроме своего бесчестья. Даже воспоминание о Манон не прибавляло ничего к моей скорби; оно присоединялось к ней разве лишь как чувство, предшествовавшее сей новой горести, главной же мукой моей души были стыд и смущение.

Не много людей знает силу глубоких душевных потрясений. Большинство человечества чувствительно лишь к пяти-шести страстям, к которым

сводятся все их жизненные волнения. Отнимите у них любовь и ненависть, радость и печаль, надежду и страх,— никаких других чувств у них не останется. Но люди более высокого склада могут волноваться на тысячу разных ладов; кажется, будто они наделены более чем пятью чувствами и способны вмещать мысли и чувствования, преступающие обычные границы природы; и, так как они сознают свое превосходство, возвышающее их над толпой, они ценят его больше всего на свете. Поэтому их так тяжко ранят насмешки и презрение, поэтому всего мучительнее переносят они чувство стыда.

И я обладал сим печальным преимуществом, живя в заключении в Сен-Лазаре. Печаль моя казалась настоятелю столь чрезмерной, что, опасаясь последствий, он стал проявлять больше мягкости и снисходительности в обхождении со мной, навещал меня два-три раза в день, часто брал с собой на прогулку по саду и расточал свое рвение на увещевания и спасительные советы. Я кротко их выслушивал. Я даже выразил ему свою признательность. Он уже питал надежды на мое обращение.

«Вы столь кротки и добродушны от природы,— сказал он мне однажды,— что я не могу поверить в распутство, в коем обвиняют вас. Две вещи меня изумляют: одна, как, обладая столь добрыми качествами, вы могли предаваться безудержному разврату; другая, коей дивлюсь еще более, почему внимаете вы столь охотно моим советам и наставлениям, в течение многих лет коснея в пороках. Ежели сие есть раскаяние, вы являетесь

избранником небесного милосердия; ежели сие происходит от природной доброты вашей, ваш нрав содержит, во всяком случае, великолепную основу, и это внушает мне надежду, что нам не потребуется долго держать вас здесь, дабы вернуть вас к жизни достойной и порядочной».

Я был в восторге от такого мнения обо мне. Я решил еще более задобрить его примерным поведением, чтобы уже вполне его успокоить, сообразив, что это вернейшее средство сократить срок моего заключения. Я попросил у него книг. Он был поражен, что, имея свободу выбора, я ограничился несколькими серьезными научными трудами. Сделав вид, будто я всецело предался занятиям, я дал ему, таким образом, полное доказательство желаемой им перемены.

Между тем она оставалась только внешней. Должен признаться, к стыду своему, что в Сен-Лазаре я играл роль лицемера. Вместо занятий, оставаясь один, предавался я стенаниям о судьбе своей, проклинал мою темницу и тиранию, которая меня в ней удерживает. И не успевал я хоть ненадолго отделаться от тоски, порождаемой сознанием моего позора, как уже снова бывал охвачен муками любви. Отсутствие Манон, тревога об ее участи, боязнь никогда более не увидеться с нею были главным предметом печальных моих раздумий. Я представлял ее в объятиях Г... М..., ибо таково было первоначальное мое предположение; и, далекий от мысли, что он обошелся с ней так же, как со мною, я был убежден, что он устранил меня лишь с целью без помехи обладать ею.

Так проводил я дни и ночи, казавшиеся мне нескончаемыми. Я возлагал надежду лишь на успех моего лицемерия. Внимательно следил я за лицом и речами настоятеля, дабы удостовериться в его мнении обо мне, и всячески старался угодить ему, как властителю моей судьбы. От меня не могло укрыться, что я у него на лучшем счету. Я уже более не сомневался в его готовности оказать мне услугу.

Однажды я осмелился задать ему вопрос, от него ли зависит мое освобождение. Он отвечал, что не от него одного это зависит; но он надеется, что, по его представлению, г-н де Г... М..., по ходатайству коего начальник полиции отдал приказ о моем заключении, согласится вернуть мне свободу. «Могу ли льстить себя надеждой,— спросил я тихо,— что два месяца тюрьмы, которые я перенес, покажутся ему достаточным искуплением?» Он обещал поговорить с ним, если я этого желаю. Я настоятельно просил его об этой доброй услуге.

Два дня спустя он сообщил мне, что Г... М... столь тронут был добрым отзывом обо мне, что не только, по-видимому, вознамерился отпустить меня на свободу, но выразил даже желание ближе со мной познакомиться и предлагает навестить меня в темнице. Хотя посещение его не могло быть мне приятно, я усмотрел в нем путь к грядущему освобождению.

Он действительно явился в тюрьму Сен-Лазар. Мне показался он более степенным и не столь глупым с виду, как в доме Манон. Он сказал мне несколько здравых слов о моем дурном поведе-

нии и добавил, очевидно, желая оправдать свое собственное распутство, что человеку по слабости его разрешаются некоторые наслаждения, коих требует природа, но что мошеннические, бесчестные проделки заслуживают сурового наказания.

Я слушал его с покорным видом, чем он, казалось, был удовлетворен. Я стерпел даже брошенные им вскользь шутливые замечания о моих родственных связях с Леско и Манон и о часовенках, которых, как он сказал, я, должно быть, смастерил в Сен-Лазаре изрядное количество, раз я так увлечен этим благочестивым занятием. Но, на его и на мое несчастие, у него вырвались слова о том, что Манон, вероятно, с успехом занимается тем же в Приюте. Несмотря на внутреннее содрогание при упоминании Приюта, я нашел еще в себе силы смиренно попросить его о разъяснении. «Да, да,— ответил он,— уже два месяца, как она учится уму-разуму в Исправительном приюте, и я желаю ей извлечь оттуда столько же пользы, сколько вы извлекли в Сен-Лазаре».

Пусть бы грозило мне вечное заключение, пусть сама смерть стояла бы пред моими очами, я и тогда не мог бы овладеть своим исступлением при сей ужасающей новости. Я бросился на Г... М... в такой ярости, что почти совсем лишился сил. У меня хватило их все-таки, чтобы опрокинуть его на землю и схватить за горло. Я стал душить его; но в эту минуту шум падения и пронзительные его крики, которые я не мог заглушить, привлекли в мою камеру настоятеля и нескольких монахов. Его едва вырвали из моих рук.

Я встал, обессиленный и еле дыша. «О, бо-

же! — вскричал я, задыхаясь,— о небесное правосудие! могу ли я жить после такого злодейства?» Я порывался снова броситься на варвара, поразившего меня в самое сердце. Меня схватили. Мое отчаяние, крики и слезы превзошли всякое воображеиие. Поведение мое было столь необычайно, что все присутствующие, не ведавшие его причины, переглядывались друг с другом скорее со страхом, нежели с нзумлением.

Тем временем г-н де Г... М... привел в порядок свой парик и жабо и, взбешенный таким обращением, приказал настоятелю заточить меня в самую тесную темницу и подвергнуть всем наказаниям, какие только применяются в Сен-Лазаре. «Нет, сударь,— возразил ему настоятель,— с лицами такого происхождення, как кавалер, мы так не поступаем. Притом он ведет себя столь кротко, столь достойно, что я понять не могу, как мог ои позволить себе такую выходку без достаточных к тому поводов». Этот ответ довершил гнев г-на де Г... М... Он вышел, говоря, что найдет управу и иа настоятеля, и на меня, и на всех тех, кто посмеет ему сопротивляться.

Приказав монахам проводить его, настоятель остался наедине со мною. Он заклинал меня поскорее сообщить ему о причине такого бесчинства. «Ах, отец мой! — воскликнул я, продолжая рыдать, как дитя,— представьте себе самую ужасную жестокость, вообразите себе самое отвратительное варварство: таков поступок, который гиусный Г... М... имел подлость совершнть. О! он пронзил мне сердце! Я никогда не приду в себя! Я все вам расскажу,— прибавил я рыдая.—

Вы добрый человек, вы сжалитесь надо мной». Я вкратце изложил ему повесть о моей долгой и непреодолимой страсти к Манон; о счастливой нашей жизни до той поры, как были мы ограблены слугами; о предложениях Г... М... моей возлюбленной; о сделке их и о том, каким образом она была расторгнута. Я представил ему все обстоятельства с наиболее выгодной для нас стороны. «Вот,— продолжал я,— из какого источника проистекает стремление г-на де Г... М... обратить меня на путь истины. Он добился моего заключения здесь, чтобы отомстить. Прощаю это ему; но, отец мой, это не все: он жестоко похитил у меня драгоценнейшую половину меня самого, он добился позорного заключения ее в Приют; он имел бесстыдство возвестить мне это сегодня своими собственными устами. В Приют, отец мой! О небо! мою очаровательную возлюбленную, мою милую царицу в Приют, как самое презренное из всех созданий! Где обрету я достаточно силы, чтобы не умереть от горя и стыда?»

Добрый отец, видя меня в такой тоске, стал утешать меня. Он сообщил мне, что никогда не рисовал себе моей истории в том освещении, как я рассказал ее; он знал, что я жил распутно; но представлял себе, что участие г-на де Г... М... вызвано дружескими связями его с моей семьей; только так он и объяснял себе все; а то, что я ему передал, существенно изменяет мое положение, и он не сомневается, что точный отчет, который он намерен дать начальнику полиции, будет способствовать моему освобождению. Засим он спросил, почему до сих пор я не подумал

известить о себе моих родных, раз они не имеют отношения к моему аресту. Я объяснил ему это боязнью опечалить отца и чувством стыда, которое я испытываю. В заключение он обещал мне тотчас же отправиться к начальнику полиции, «хотя бы для того,— прибавил он,— чтобы предупредить новые происки со стороны г-на де Г... М..., который ушел весьма разгневанный и при своей влиятельности не может не внушать опасений».

Я дожидался возвращения настоятеля, волнуясь как приговоренный к смерти, срок казни которого приближается. Невыразимо мучительно было мне воображать Манон в Приюте. Не говоря уже о позоре, я не ведал, как с ней обращаются там, а воспоминание о некоторых подробностях, какие приходилось мне слышать об этом доме ужаса, вновь и вновь приводило меня в исступленное состояние. Я столь твердо решил спасти ее какой бы то ни было ценой, любыми средствами, что не задумался бы поджечь тюрьму Сен-Лазар, если невозможно было бы выбраться оттуда иным способом.

Я стал размышлять, что предпринять мне в случае, если начальник полиции продлит мое заключение. Я пустил в ход всю свою изобретательность; продумал все возможности. Я не нашел ничего, что бы могло мне обеспечить верный побег, и боялся навлечь на себя еще более строгое заточение в случае неудачной попытки. Я припоминал имена друзей, на помощь которых мог надеяться; но как известить их о моем положении? Наконец, в голове у меня как будто сло-

жился план, суливший успех, и я отсрочил более тщательную его проработку до возвращения отца настоятеля, если неудача сделает то необходимым.

Он не замедлил вернуться; я не увидел на его лице признаков радости, сопутствующих доброй вести. «Я переговорил с начальником полиции,— сказал он,— но переговорил с ним слишком поздно. Г-н де Г... М... отправился прямо к нему, выйдя отсюда, и так настроил его против вас, что он уже изготовил приказ о еще более строгом вашем заточении».

«Однако же, когда я сообщил ему все обстоятельства вашего дела, он, видимо, несколько смягчился; и, посмеявшись слегка над невоздержанностью престарелого г-на де Г... М..., сказал, что для его удовлетворения следует оставить вас здесь на полгода, тем паче, по его словам, что здешнее пребывание несомненно пойдет вам на пользу. Он предложил мне обходиться с вами достойным образом, и ручаюсь, что вы не пожалуетесь на мое к вам отношение».

Рассказ добрейшего настоятеля длился достаточно долго, чтобы у меня было время все хорошенько обдумать. Я понял, что все мои планы рушатся, если я выкажу слишком большое стремление к свободе. Поэтому я заверил его, напротив, что при необходимости остаться здесь, для меня будет сладостным утешением заслужить право на его уважение. Затем я непринужденно попросил его о небольшой милости, которая весьма поспособствовала бы моему успокоению, а именно попросил уведомить одного из моих

друзей, благочестивого священнослужителя из семинарии Сен-Сюльпис, что я нахожусь в Сен-Лазаре, и дозволить мне изредка принимать его у себя. Милость сия была мне оказана беспрекословно.

Я разумел друга моего Тибержа: не то, чтобы я возлагал надежды на его прямую помощь, но я хотел воспользоваться им, как неким косвенным орудием неведомо для него самого. В двух словах мой проект был таков: я думал написать Леско и просить его и наших общих друзей позаботиться о моем освобождении. Первым затруднением было доставить ему письмо; это должен был сделать Тиберж. Вместе с тем, так как Тиберж знал его как брата моей возлюбленной, я опасался, что он откажется от такого поручения. Я имел в виду вложить письмо к Леско в другое письмо, адресованное одному достойному моему знакомому, которого попросил бы спешно доставить первое по указанному адресу; а так как мне необходимо было увидеться с Леско, чтобы столковаться с ним о наших действиях, я хотел ему посоветовать явиться ко мне в Сен-Лазар под именем моего старшего брата, нарочно приехавшего в Париж узнать о положении моих дел. Вместе с ним я собирался обдумать наиболее быстрые и верные средства осуществить побег. Отец-настоятель оповестил Тибержа о моем желании побеседовать с ним. Этот верный друг не настолько потерял меня из виду, чтобы не знать о моем приключении; он был осведомлен, что я нахожусь в Сен-Лазаре и, быть может, не был слишком огорчен этой бедою, полагая, что она

наконец обратит меня на путь истинный. Он немедленно явился ко мне в камеру.

Наша беседа была полна дружбы и любви. Он выразил желание услышать о моих намерениях. Я открыл ему все свое сердце, утаив только намерение бежать. «Перед вами я не хочу притворяться,— сказал я.— Если вы ожидали найти здесь друга благоразумного и раскаявшегося, развратника, обращенного небесной карою, одним словом, сердце, освободившееся от пут любви и чар Манон, вы судили слишком благосклонно обо мне. Вы видите меня таким же, каким оставили четыре месяца назад: все столь же любящего и все столь же несчастного от роковой любви, в которой я по-прежнему вижу все свое счастье».

Он отвечал, что такое признание делает меня недостойным прощения; что много есть грешников, кои в опьянении лживым блаженством порока открыто предпочитают его блаженству добродетели, но что они влекутся, по крайней мере, к воображаемому блаженству и обманываются призрачным счастием; однако признавать, как я, что предмет моего влечения может сделать меня только преступным и несчастным, и продолжать добровольно стремиться к несчастию и преступлению есть противоречие в мыслях и поступках, которое не делает чести моему разуму.

«Тиберж,— возразил я,— легко побеждать вам, когда ничего не противопоставлено вашему оружию! Предоставьте мне рассудить в свою очередь. Можете ли вы утверждать, что то, что вы называете блаженством добродетели, свободно от страданий, невзгод и волнений? Как назовете

вы тюрьму, крест, казни и пытки тиранов? Скажете ли вы, вместе с мистиками, что мучения телесные — блаженство для души? Вы не дерзнете так говорить; это — недоказуемый парадокс. Итак, блаженство, прославляемое вами, смешано с множеством страданий; или, выражаясь точнее, оно лишь бездна всяческих горестей, сквозь которую человек стремится к счастию. Если же сила воображения помогает находить удовольствие в самих бедах, потому что они могут вести к желанному счастливому концу, почему же, когда речь идет о моем поведении, вы рассматриваете подобное же умонастроение как противоречивое и безрассудное? Я люблю Манон; я стремлюсь через множество страданий к жизни счастливой и спокойной подле нее. Горестен путь, которым я иду, но надежда достигнуть желаемой цели смягчает его трудности, и я сочту себя с избытком вознагражденным одним мгновением, проведенным с Манон, за все печали, испытанные ради нее. Итак, все обстоятельства с вашей и с моей стороны представляются мне одинаковыми; или, если уж есть какая-либо разница, то к моему преимуществу, ибо блаженство, на которое я надеюсь, близко, а ваше — удалено; мое блаженство той же природы, что и страдания, то есть понятно земному человеку; природа же вашего неизвестна, и принимать его можно только на веру».

Тиберж, казалось, был испуган таким рассуждением. Отступив на два шага, он строго заметил, что слова мои не только оскорбляют здравый смысл, но представляются жалким софизмом,

нечестивым и безбожным: «ибо,— присовокупил он,— сие сопоставление цели ваших страданий с тою целью, которую указывает религия, является одной из самых вольнодумных и чудовищных идей».

«Признаю,— согласился я,— что идея неправильна; но имейте в виду, не в ней суть моего рассуждения. Моим намерением было разъяснить вам то, что вы рассматриваете как противоречие: постоянство в любви злосчастной; и, полагаю, мне удалось доказать вам, что, если здесь и есть противоречие, вы равным образом от него не спасетесь. Лишь в этом смысле я делал свои сопоставления и продолжаю на них настаивать.

Вы возразите, что цель добродетели бесконечно выше цели любви? Кто отрицает это? Но разве в этом суть? Ведь речь идет о той силе, с которой как добродетель, так и любовь могут переносить страдания! Давайте судить по результатам: отступники от сурового долга добродетели встречаются на каждом шагу, но сколь мало найдете вы отступников от любви!

Вы возразите далее, что, ежели существуют трудности на пути добродетели, они не неминуемы и не неизбежны; что ныне уже не бывает ни тиранов, ни распятий на кресте, и можно наблюдать множество людей добродетельных, ведущих жизнь тихую и спокойную? Отвечу вам также, что встречается и любовь мирная и благополучная; и укажу еще на одно различие, говорящее явно в мою пользу, именно что любовь, хотя и обманывает весьма часто, обещает, по крайней

мере, утехи и радости, тогда как религия сулит лишь молитвы и печальные размышления.

Не тревожьтесь,— прибавил я, видя, что при всем его участии ко мне, он готов огорчиться; — единственный вывод, который я хочу сделать, заключается в том, что нет худшего способа отвратить сердце от любви, как пытаться разуверить его в ее радостях и сулить большее счастие от упражнений в добродетели. Мы, люди, так сотворены, что счастье наше состоит в наслаждении [49], это неоспоримо; вам не удастся доказать противное: человеку не требуется долгих размышлений для того, чтобы познать, что из всех наслаждений самые сладостные суть наслаждения любви. Он не замедлит обнаружить, что его морочат, суля какие-то иные, более привлекательные радости, и сей обман внушает ему недоверие к самым твердым обещаниям.

Вы, проповедники, желающие привести меня к добродетели, уверяете, что она совершенно необходима; но не скрывайте от меня, что она сурова и трудна. Вы можете доказать с полной убедительностью, что радости любви преходящи, что они запретны, что они повлекут за собой вечные муки, наконец,— и это, быть может, произведет на меня еще большее впечатление,— что чем сладостнее и очаровательнее они, тем великолепнее будет небесное воздаяние за столь великую жертву; но признайте, что пока в нас бьется сердце, наше совершеннейшее блаженство находится здесь, на земле».

Заключение моей речи вернуло Тибержу хорошее настроение. Он согласился, что мысли мои

не так уж неразумны. Он привел единственное возражение, задав мне вопрос, почему же я не последую своим собственным принципам, пожертвовав недостойной любовью в надежде на ту награду, о коей у меня сложилась столь великая идея. «Дорогой друг! — отвечал я,— тут-то и признаю я свою слабость и ничтожество. Увы! да, долг мой поступать так, как я разумею; но в моей ли власти мои поступки? Может ли кто оказать мне помощь, чтобы забыть очарование Манон?» — «Бог да простит мне! — сказал Тиберж,— я, кажется, слышу речи одного из наших янсенистов» [50].— «Не ведаю, кто я такой,— возразил я,— и не вижу ясно, кем должен быть; но достаточно ощущаю истинность того, что говорят они».

Наша беседа послужила, по крайней мере, к тому, что вызвала сострадание ко мне моего друга. Он понял, что в моей распущенности более слабости, нежели злой воли. И в дальнейшем он проявил больше дружеского расположения оказать мне помощь, без которой я погиб бы окончательно. В то же время я не открыл ему своего намерения бежать из Сен-Лазара. Я попросил его только передать мое письмо по назначению. Я изготовил письмо еще до его прихода и, приведя множество доводов, вручил конверт Тибержу. Он точно выполнил мое поручение, и к концу дня Леско получил письмо, ему адресованное.

Он явился ко мне на следующий день и благополучно был допущен под именем моего брата. Радость моя была беспредельна при виде его. Дверь камеры я тщательно запер. «Не будем

терять ни минуты,— сказал я,— сначала расскажите мне все, что вы знаете о Манон, а затем посоветуйте, как мне разбить мои оковы». Он уверил меня, что не видел сестры со дня моего заключения, что о ее, как и моей участи узнал он только после тщательных розысканий, что несколько раз он являлся в Приют, но ему отказывали в свидании с нею. «Презренный Г... М...! — вскричал я,— дорого ты мне за это заплатишь!»

«Что касается вашего освобождения,— продолжал Леско,— то предприятие это труднее, чем вы полагаете. Вчерашний вечер мы с двумя приятелями тщательно осмотрели все наружные стены здания и пришли к заключению, что, раз ваши окна, как вы писали, выходят на внутренний двор, вас не легко будет вытащить отсюда. Кроме того, камера находится на четвертом этаже, а мы не можем доставить сюда ни веревок, ни лестниц. Итак, я не вижу никаких средств освобождения извне. Необходимо изобрести что-нибудь внутри самого здания».

«Нет,— возразил я,— я все уже обследовал, особенно с тех пор, как надзор за мной немного ослабили благодаря снисходительности настоятеля. Дверь моей камеры более не запирается на ключ: мне разрешено свободно разгуливать по монашеским коридорам; но все лестницы упираются в толстые двери, крепко-накрепко замкнутые денно и нощно; таким образом, при всей моей ловкости немыслимо, чтобы я мог спастись своими силами».

«Постойте,— продолжал я, задумавшись над внезапно блеснувшей мне идеей,— могли бы вы

принести мне сюда пистолет?» «Сколько угодно,— сказал Леско,— но разве вы хотите убить кого-нибудь?» Я уверил его, что убийство нимало не входит в мои намерения и нет даже необходимости, чтобы пистолет был заряжен. «Принесите мне его завтра,— прибавил я,— и ждите меня в одиннадцать часов вечера против ворот тюрьмы с двумя-тремя друзьями. Надеюсь, что сумею присоединиться к вам». Он тщетно добивался от меня разъяснений. Я сказал ему, что предприятие, какое я задумал, не может показаться разумным, прежде нежели оно удастся. Затем я попросил его сократить свое пребывание, дабы ему легче было увидеться со мною на следующий день. Он был допущен ко мне так же просто, как и в первый раз. Благодаря степенному его виду все принимали его за человека достойного.

Как только я вооружился орудием моей свободы, я почти уже не сомневался в успехе. Мой план был странен и дерзок; но на что только не был я способен, одушевляемый надеждой на спасение? С тех пор, как мне разрешено было выходить из камеры и прогуливаться по коридорам, я заметил, что привратник каждый вечер относит ключи от ворот настоятелю; вслед затем все расходятся по своим покоям и в здании воцаряется глубокая тишина. Я мог беспрепятственно пройти по коридору, ведущему от моей камеры к комнате настоятеля. Решение мое состояло в том, чтобы отобрать у него ключи, запугав его пистолетом, ежели он откажется мне их дать добровольно, и при их помощи выбраться на улицу.

Я с нетерпением дожидался урочного времени. В обычный час, то есть вскоре после девяти, появился привратник. Я выждал еще час, дабы удостовериться, что все монахи и служители заснули. Наконец, я выступил со своим оружием и с зажженною свечой в руках. Сначала я тихо постучал в дверь настоятеля, чтобы разбудить его, не поднимая лишнего шума. При втором ударе он услышал меня и, вероятно вообразив, что стучит кто-нибудь из монахов, заболевших и нуждающихся в помощи, встал, чтобы отворить. Тем не менее он предусмотрительно спросил через дверь, кто там и что нужно. Мне пришлось назвать себя; но я придал голосу жалобный тон, притворившись, будто мне нехорошо. «А, это вы, сын мой,— сказал он, отворяя дверь.— Что привело вас сюда в такой поздний час?» Я вошел в комнату и, отведя его подальше от двери, объявил, что больше мне нет возможности оставаться в Сен-Лазаре, что ночь — время удобное, чтобы уйти незамеченным, и я ожидаю от его дружеского ко мне расположения, что он согласится либо отпереть мне двери, либо вручить мне ключи, дабы я отпер их сам.

Такое заявление не могло не удивить его. Несколько времени смотрел он на меня, не отвечая; так как каждая минута была дорога, я снова обратился к нему, говоря, что чрезвычайно тронут его добротой, но что свобода — драгоценнейшее из всех благ на свете, особенно для меня, который был лишен ее несправедливо, и я решил добыть ее себе этой ночью, чего бы мне это ни стоило; опасаясь, как бы он не возвысил голос,

зовя на помощь, я показал ему оружие, спрятанное у меня под камзолом, как убедительный повод к молчанию. «Пистолет!— произнес он.— Как! сын мой, вы хотите лишить меня жизни в знак признательности за все мое внимание к вам?» — «Да не допустит этого господь,— отвечал я.— Вы достаточно благоразумны и не доведете меня до крайности; но я хочу свободы, и решение мое столь непоколебимо, что если мой план не осуществится по вашей вине, то пеняйте на себя».— «Но, дорогой мой сын,— возразил он, бледный и напуганный,— что я вам сделал, какие основания у вас желать моей смерти?» — «Да нет же! — отвечал я нетерпеливо,— у меня нет намерения убивать вас; хотите жить — отоприте мне двери, и я — лучший из ваших друзей». Я увидел ключи на столе; я взял их и попросил его следовать за мною, производя как можно меньше шума.

Он вынужден был подчиниться. По мере того, как мы подвигались и он отмыкал одну дверь за другой, он повторял, сокрушаясь: «Сын мой, сын мой! Кто бы мог поверить?» — «Тише, отец мой»,— твердил я ежеминутно. Наконец, мы дошли до решетки перед воротами на улицу. Я уже считал себя на свободе и стоял позади настоятеля со свечой в одной руке и пистолетом в другой.

Пока он старался отомкнуть замок, один из служителей, спавший в соседней каморке, услышав шум, поднялся и высунул голову в дверь. Добрый отец, очевидно понадеявшись, что тот сможет меня задержать, имел неосторожность

призвать его на помощь. Здоровенный малый бросился на меня, не колеблясь. Я не церемонился с ним; выстрел мой пришелся ему в самую грудь. «Вот чему вы послужили причиною, отец мой,— с некоторой гордостью сказал я своему вожатому.— Но, да не послужит вам это помехой»,— прибавил я, подталкивая его к последней двери. Он не посмел отказать и отпер ее. Я благополучно выбрался и нашел Леско с двумя приятелями, поджидавших меня в четырех шагах, как он обещал.

Мы двинулись в путь. Леско спросил меня, не померещился ли ему звук выстрела из пистолета. «Ваша вина,— сказал я,— зачем принесли вы мне его заряженным?» Все же я поблагодарил его за такую предусмотрительность, иначе я несомненно надолго бы остался в тюрьме. Ночевать мы отправились к трактирщику, и там я немного восстановил свои силы после скверной тюремной пищи. Однако меня не радовало мое спасение. Я смертельно страдал за Манон. «Необходимо ее освободить,— говорил я своим друзьям.— Я жаждал свободы только ради этого. Жду помощи от вашей ловкости; что до меня, то я готов пожертвовать и жизнью».

Леско, у которого не было недостатка ни в уме, ни в осмотрительности, заметил мне, что надо действовать осторожно; мой побег из Сен-Лазара и злополучный выстрел при выходе, вызовут неизбежный переполох; начальник полиции распорядится о моей поимке, а руки у него длинные; наконец, если я не хочу подвергнуться чему-либо худшему, чем в Сен-Лазаре, мне следует

на несколько дней скрыться и просидеть взаперти, пока не уймется первый пыл моих врагов. Совет был благоразумен, но надо было и самому быть благоразумным, чтобы ему последовать. Такая медлительность и осторожность не согласовывались с моей страстью. Я мог лишь обещать, что просплю весь следующий день. Он запер меня у себя в комнате, и там я остался до вечера.

Часть этого времени я составлял всевозможные проекты и изобретал средства освобождения Манон. Я был совершенно убежден, что стены ее темницы еще непроницаемее, чем моей. О применении силы не могло быть и речи: нужна была хитрость. Но сама богиня изобретательности не знала бы, с какого конца начать. Мне ничего не приходило в голову, и я отложил обдумывание своих действий до тех пор, пока не соберу сведений о внутреннем распорядке Приюта.

Как только ночь вернула мне свободу, я попросил Леско сопровождать меня туда. Мы завели разговор с одним из привратников, показавшимся нам человеком смышленым. Я прикинулся иностранцем, слышавшим восторженные отзывы о Приюте и порядках его. Расспросил о малейших подробностях, и, слово за слово, мы добрались до начальствующих лиц; я просил сообщить мне их имена, а также дать их характеристики. Ответы его по последнему пункту зародили во мне идею, которой я сейчас же увлекся и не замедлил приступить к ее исполнению. Я спросил его, как о предмете весьма для меня важном, есть ли дети у его начальников? Он отвечал, что не может мне дать точного отчета, но что

касается г-на де Т..., одного из главных лиц, то у него есть совершеннолетний сын, который несколько раз бывал в Приюте вместе с отцом. Этого было мне достаточно.

Я почти сейчас же прервал беседу и, вернувшись домой, поделился с Леско новым своим планом. «Я представляю себе,— сказал я,— что г-на де Т... сына, богатого и хорошей семьи, как большинство молодежи его возраста, должно тянуть к известного рода удовольствиям. Он не может быть ни врагом женщин, ни таким чудаком, чтобы отвергать их услуги в любовных делах. У меня сложился план заинтересовать его в свободе Манон. Ежели он честный человек и не лишен чувства, он окажет нам помощь из благородного побуждения. Ежели он не способен руководствоваться таким мотивом, то, по крайней мере, он что-нибудь да сделает ради милой девицы, хотя бы в надежде на свою долю в ее ласках. Не хочу откладывать свидания с ним далее, чем до завтра,— прибавил я.— Меня так привлекает мой новый план, что я вижу в этом доброе предзнаменование».

Леско и сам согласился, что в моих идеях много правдоподобного, и есть основание надеяться на некоторый успех на этом пути. Я провел ночь уже не так безутешно.

Когда настало утро, я оделся как мог опрятнее при моей тогдашней бедности и в наемной карете подъехал к дому г-на де Т... . Он был немало удивлен визиту незнакомца. Мои предсказания оправдались в отношении его физиономии и обхождения. Я объяснился с ним напрямик и,

дабы воспламенить его естественные чувства, рассказал о своей неодолимой страсти, которая может быть оправдана лишь редкими достоинствами моей возлюбленной. Он мне сказал, что, хотя и никогда не видал Манон, ему приходилось слышать о ней, по крайней мере, если это та самая, что была любовницей старого Г... М.... Я не сомневался, что он осведомлен об участии, какое я принимал в этом приключении, и, дабы завоевать еще больше его доверие, рассказал ему все подробности нашей истории с Манон. «Вы видите,— продолжал я,— что счастье моей жизни и моего сердца— в ваших руках. Одно для меня не дороже, чем другое. Говорю столь откровенно с вами, потому что мне сообщили о вашем благородстве, а сверх того сходство наших возрастов подает мне надежду и на сходство наших наклонностей».

Казалось, он был очень тронут таким знаком откровенности и чистосердечия. Его ответ был ответом человека светского, но обладающего чувствами; последнее не всегда дается светом, зато нередко там утрачивается. Он заявил, что считает мое посещение за честь для себя, что мою дружбу рассматривает, как одно из самых удачных приобретений и постарается заслужить ее горячей готовностью оказать мне услугу. Он не обещал возвратить мне Манон, потому что, по его словам, влияние, каким он пользуется, невелико, и он не может на него вполне рассчитывать; но предложил доставить мне удовольствие увидеться с ней и сделать все, что в его силах, чтобы вернуть ее в мои объятия. Этой неуверенностью его

в своем влиянии я был более удовлетворен, нежели если бы он сразу выразил полную готовность исполнить все мои желания. В умеренности его предложений я видел знак его чистосердечия, и был очарован. Словом, я преисполнился надежды на его искреннюю помощь. Одно обещание устроить мне встречу с Манон побудило бы меня все сделать для него. Выражения, в каких я высказал ему свои чувства, убедили его в искренности моей натуры. Мы нежно обняли друг друга и стали друзьями без всяких других оснований, кроме доброты наших сердец и естественного расположения, которое сближает двух отзывчивых и благородных людей.

Знаки его уважения ко мне простерлись гораздо дальше; ибо, приняв во внимание мои невзгоды и рассудив, что по выходе из Сен-Лазара я должен испытывать нужду, он предложил мне свой кошелек, настаивая, чтобы я его принял. Я отказался наотрез, заявив ему: «Вы слишком милостивы, дорогой мой друг. Если благодаря вашей дружбе и доброте я увижусь с моей бесценной Манон, я буду на всю жизнь вам обязан. Если же вы навсегда вернете мне это дорогое создание, я буду чувствовать себя должником вашим, даже пролив за вас всю мою кровь».

Расставаясь, мы условились о времени и месте нашего следующего свидания; он был так мил, что предложил мне встретиться в тот же день пополудни.

Я подождал его в кофейной, куда он явился около четырех часов, и мы вместе направились в Приют. Колени тряслись у меня, когда я шел

по двору. «О бог любви! — говорил я,— итак, я увижу кумир моего сердца, предмет стольких слез и волнений! О небеса! сохраните только мне силы, чтобы дойти до нее, а там предоставляю вам мою судьбу и жизнь; я не прошу ни о какой иной милости».

Г-н де Т... переговорил с двумя-тремя привратниками, которые наперерыв старались услужить ему. Он просил показать нам коридор, куда выходит камера Манон, и служитель повел нас туда, неся в руках ужасающей величины ключ от ее двери. Я спросил у нашего проводника, которому был поручен уход за Манон, как проводит она время в Приюте. Он стал говорить об ее ангельской кротости: о том, что ни разу не слышал от нее ни одного резкого слова; что первые полтора месяца своего заключения она не переставала плакать; но спустя несколько времени, казалось, стала с бо́льшим терпением переносить свое несчастие и теперь с утра до вечера занимается шитьем, за исключением нескольких часов в день, которые она посвящает чтению. Я задал еще вопрос, опрятно ли ее содержат. Он уверил меня, что все необходимое ей предоставлено.

Мы подошли к двери ее камеры. Сердце мое билось изо всех сил. Я сказал г-ну де Т...: «Войдите один и предупредите ее о моем посещении, ибо я боюсь, что она будет слишком потрясена, если увидит меня внезапно». Дверь отворилась. Я оставался в коридоре. Тем не менее я слышал их разговор. Он сказал, что принес ей утешение; что он принадлежит к числу моих друзей и принимает в нас большое участие. С живейшим

нетерпением она спросила его, не принес ли он вестей обо мне. Он обещал, что я, столь нежный и преданный, как только она может желать, скоро буду у ее ног.— «Когда же?» — спросила она.— «Сегодня,— отвечал он,— счастливое мгновение не замедлит; он появится сию же минуту, если вы пожелаете». Она поняла, что я за дверью. Я вошел и она порывисто бросилась ко мне навстречу. Мы кинулись друг другу в объятия в страстном порыве, очарование которого знают любовники, испытавшие трехмесячную разлуку. Наши вздохи, наши прерывистые восклицания, тысячи любовных имен, томно повторяемых той и другой стороною в течение четверти часа, умилили г-на де Т... . «Завидую вам,— обратился он ко мне, приглашая нас сесть,— нет такой славной участи, какой я бы не предпочел столь красивую и страстную возлюбленную».— «Вот почему и я презрел бы все царства мира,— ответил я,— за одно счастие быть любимым ею».

Вся остальная, столь желанная наша беседа была проникнута бесконечной нежностью. Бедная Манон рассказала мне свои злоключения, я поведал ей о своих. Мы горько плакали, беседуя об ее бедственном положении и о темнице, из которой я только что вышел. Г-н де Т... утешал нас новыми горячими обещаниями сделать все, чтобы положить конец нашим бедам. Он посоветовал нам не затягивать слишком долго этого первого свидания, дабы облегчить ему возможность устроить дальнейшие наши встречи. Немалых трудов стоило ему убедить нас в этом. Манон, в особенности, никак не могла решиться отпу-

стить меня. Вновь и вновь усаживала она меня; удерживала меня за платье, за руки. «Горе мне! в каком месте оставляете вы меня? — говорила она.— Кто поручится мне, что я опять увижу вас?» Г-н де Т... дал ей обещание часто посещать ее вместе со мною. «Что же касается до этого места,— прибавил он любезно,— отныне оно уже не должно именоваться Приютом; это — Версаль, с тех пор, как в нем заключена особа, достойная воцариться во всех сердцах».

Выходя, я вручил прислуживавшему ей сторожу некоторую мзду в поощрение его забот о ней. Малый этот обладал душой менее низкой и менее черствой, нежели ему подобные. Он был свидетелем нашего свидания. Нежное зрелище растрогало его. Золотой, полученный им от меня, окончательно расположил его в мою пользу. Спускаясь по лестнице, он поманил меня в сторону и сказал: «Сударь, ежели вам угодно взять меня на службу или достойно вознаградить за потерю здешнего места, думаю, что я легко мог бы освободить мадемуазель Манон».

Я насторожился при этом предложении; и, хотя был лишен всего своего достояния, наобещал ему с три короба. Я рассчитывал, что мне всегда удастся отблагодарить человека такого десятка. «Будь уверен, мой друг,— сказал я ему,— что нет ничего, чего бы я ни сделал для тебя, и что твое благосостояние столь же обеспечено, сколь и мое». Я пожелал узнать, в чем состоит его план.— «Он очень простой,— отвечал он.— Я отопру вечером дверь ее камеры и провожу ее до самых ворот, где вы должны уже стоять

наготове». Я спросил, нет ли опасности, что ее узнает какой-нибудь встречный в коридорах или на дворе. Он признал, что некоторая опасность есть; но, по его словам, без риска тут не обойдешься.

Хотя я пришел в восторг от его решимости, но почел нужным подозвать г-на де Т..., чтобы сообщить ему этот проект и единственное обстоятельство, делавшее его сомнительным. Он нашел для него более препятствий, нежели я. Правда, он согласился, что Манон могла бы бежать таким способом. «Но если ее узнают,— продолжал он,— и если она будет задержана, то, вероятно, уже навсегда. С другой стороны, вам пришлось бы, не теряя ни минуты, покинуть Париж, ибо вам никогда не укрыться от поисков, которые будут удвоены как из-за вас, так и из-за нее. Одному человеку легко ускользнуть; но почти невозможно не быть обнаруженным, живя вместе с красивой женщиной».

Сколь основательным ни казалось его рассуждение, оно не могло во мне пересилить сладостной надежды на близкое освобождение Манон. Я высказал это г-ну де Т..., прося его простить моей любви немного неосторожности и безрассудства. Я прибавил, что намерением моим было действительно покинуть Париж, чтобы поселиться, как и прежде, в одной из окрестных деревень. Итак, мы сговорились со служителем не откладывать нашего предприятия долее, чем на следующий день; а чтобы вернее достигнуть успеха и облегчить наш выход наружу, решили захватить мужское платье. Было не столь просто при-

нести его с собой, но у меня хватило изобретательности. Я только попросил г-на де Т... облачиться в два легких камзола, а заботы обо всем остальном взял на себя.

На другое утро мы вернулись в Приют. Я имел при себе для Манон белье, чулки и прочее, а поверх полукафтанья надел сюртук, достаточно широкий, чтобы скрыть содержимое моих карманов. Мы пробыли в ее камере не более минуты. Г-н де Т... оставил ей один из своих камзолов; я дал ей свое полукафтанье, мне самому было достаточно сюртука. Все оказалось налицо в ее костюме, за исключением панталон, которые я, к несчастью, забыл.

Оплошность наша в отношении столь необходимого предмета, конечно, только рассмешила бы нас, если бы затруднительное положение, в котором мы оказались, было менее серьезно. Я был в отчаянии, что такая безделица может нас задержать. И тут я решился выйти самому без панталон, предоставив их Манон. Сюртук у меня был длинный и, с помощью нескольких булавок, я привел себя в достаточно приличный вид, чтобы пройти через ворота.

Остаток дня мне показался нестерпимо долгим. Наконец, ночь наступила, и мы подъехали в карете к Приюту, остановившись немного поодаль от ворот. Нам недолго пришлось ждать появления Манон с ее провожатым. Дверцы были отворены, и оба они сейчас же сели в карету. Я принял в объятия мою дорогую возлюбленную; она дрожала как лист. Кучер спросил меня, куда ехать. «Поезжай на край света,— воскликнул

я,— и вези куда-нибудь, где меня никто не разлучит с Манон».

Порыв, который я не в силах был сдержать, чуть было не навлек на меня новой неприятности. Кучер призадумался над моей речью и, когда я назвал ему улицу, куда мы должны были ехать, он объявил, что боится, как бы не втравили его в скверную историю, что он догадался, что красивый малый, именуемый Манон,— девица, похищенная мною из Приюта, и что он вовсе не расположен попасть из-за меня в беду.

Щепетильность этого негодяя объяснялась просто желанием сорвать лишнее за карету. Мы находились еще слишком близко от Приюта, чтобы вступать с ним в пререкания. «Молчи только,— сказал я ему,— и заработаешь золотой». После этого он охотно помог бы мне хоть спалить весь Приют.

Мы подъехали к дому, где проживал Леско. Так как было уже поздно, г-н де Т... покинул нас по дороге, обещая навестить на другой день. Приютский служитель остался с нами.

Я так тесно сжал Манон в своих объятиях, что мы занимали только одно место в карете. Она плакала от радости, и я чувствовал, как слезы ее текут по моему лицу.

Но, когда мы выходили из кареты у дома Леско, у меня с кучером возникло новое недоразумение, последствия коего оказались роковыми. Я раскаивался в своем обещании дать ему золотой, не только потому, что подарок был чрезмерен, но и по другому, более вескому основанию: мне нечем было расплатиться. Я послал за Лес-

ко. Когда он появился, я шепнул ему на ухо, в каком я нахожусь затруднении. Будучи нрава грубого, и не имея привычки церемониться с извозчиками, он заявил, что это просто издевательство. «Золотой? — вскричал он,— двадцать палок этому негодяю!» [51] Тщетно я успокаивал его, ставя на вид, что он нас погубит. Он вырвал у меня трость с явным намерением поколотить кучера. Тот, не раз, видно, испытавший на себе руку гвардейца или мушкетера и насмерть перепуганный, укатил, крича, что я его надул, но что он мне еще покажет. Напрасно я призывал его остановиться. Бегство его меня крайне встревожило; я ничуть не сомневался, что он донесет в полицию. «Вы губите меня,— сказал я Леско;— у вас я не буду в безопасности; нам надо немедленно удалиться». Я подал руку Манон, приглашая ее идти, и мы поспешно покинули опасную улицу. Леско последовал за нами.

Удивительны и неисповедимы пути провидения. Не прошли мы и пяти-шести минут, как какой-то встречный, лица которого я не разглядел, узнал Леско. Несомненно, он рыскал возле его дома с злосчастными намерениями, которые и привел в исполнение. «Ага, вот и Леско,— крикнул он и выстрелил в него из пистолета;— ему придется поужинать сегодня с ангелами». В тот же миг он скрылся. Леско упал без всяких признаков жизни. Я торопил Манон бежать, ибо помощь наша была бесполезна для трупа, а я опасался, что нас задержит ночной дозор, который вот-вот мог явиться. Я бросился с ней и со слугою в первый боковой переулок; Манон так была

расстроена, что еле держалась на ногах. Наконец, на углу переулка я увидел извозчика. Мы прыгнули в карету, но, когда кучер спросил, куда ехать, я не знал, что ему отвечать. У меня не было ни надежного убежища, ни верного друга, к которому я решился бы прибегнуть; я был без денег, с каким-нибудь полупистолем в кармане. Страх и усталость настолько обессилили Манон, что она склонилась ко мне почти без сознания. С другой стороны, воображение мое было потрясено убийством Леско, и я все еще опасался ночного патруля. Что предпринять? К счастью я вспомнил о постоялом дворе в Шайо, где провели мы с Манон несколько дней, подыскивая себе жилище в этой деревушке. Там мог я надеяться прожить несколько времени не только в безопасности, но и в кредит. «Вези нас в Шайо!» — сказал я кучеру. Новое затруднение; он отказался ехать туда ночью меньше, чем за пистоль. Наконец, мы сошлись на шести франках; этим исчерпывалось содержимое моего кошелька.

По пути я утешал Манон, но в глубине души и сам предавался отчаянию. Я бы покончил с собой, если бы не держал в объятиях единственное сокровище, привязывавшее меня к жизни. Одна лишь эта мысль вернула мне самообладание. «Во всяком случае Манон со мною,— думал я;— она любит меня, она принадлежит мне. Пускай Тиберж говорит, что ему угодно; это не призрак счастья. Погибай хоть вся вселенная, я останусь безучастным. Почему? Потому что у меня нет привязанности ни к чему остальному». Я действительно так чувствовал; в то же время,

придавая столь мало значения благам земным, я сознавал, что мне надобно обладать хотя бы небольшой их долей, чтобы с гордым презрением отнестись ко всему остальному. Любовь могущественнее всяческого изобилия, могущественнее сокровищ и богатств; но она нуждается в их поддержке, и нет ничего горестнее для тонко чувствующего любовника, как попасть в невольную зависимость от грубости людей низких.

Было одиннадцать часов, когда мы прибыли в Шайо. На постоялом дворе нас встретили как старых знакомых. Мужское платье Манон не возбудило удивления, потому что в Париже и окрестностях привыкли ко всяким женским переодеваниям. Я распорядился, чтобы ее окружили самым заботливым уходом, делая вид, будто не стесняюсь в средствах. Она не подозревала о моем полном безденежье, а я остерегался намекать ей на это, приняв решение завтра же вернуться одному в Париж, чтобы отыскать какое-нибудь лекарство от сей докучливой болезни.

За ужином показалась она мне бледной и похудевшей. Я не заметил этого в Приюте, потому что в камере, где я видел ее, было темновато. Я спросил, не от того ли это, что ее напугало убийство брата, совершенное у нее на глазах. Она уверила меня, что, хотя она и расстроена этим происшествием, бледность ее происходит от того, что в течение трех месяцев она тосковала в разлуке со мной. «Значит, ты так любишь меня?» — проговорил я.— «В тысячу раз более, нежели могу выразить»,— отвечала она.— «И ты меня никогда теперь не покинешь?» — прибавил

я.— «Никогда»,— воскликнула она, и заверение свое скрепила такими ласками и клятвами, что мне казалось действительно немыслимым, чтобы когда-нибудь она могла их забыть. Я всегда верил в ее искренность: какой смысл был ей доводить притворство до такой степени? Но еще более она была ветрена или, скорее, безвольна и сама себя не помнила, когда, видя перед собою женщин, живущих в роскоши, сама пребывала в нищете и нужде. Мне вскоре предстояло получить этому последнее доказательство, которое превзошло все прочие и повлекло самое невероятное приключение, какое только могло случиться с человеком моего происхождения и состояния.

Зная ее с этой стороны, я поспешил на следующий день в Париж. Смерть ее брата и необходимость запастись бельем и одеждой для нее и для себя были столь очевидным к тому поводом, что я мог и не выдумывать предлогов. Я вышел с постоялого двора с намерением, как сказал я Манон и хозяину, взять наемную карету; но это было пустое хвастовство. Нужда заставила меня идти пешком, и я быстро зашагал по направлению к Кур-ля-Рэн [52], где намеревался передохнуть. Я должен был хоть на минуту остаться один, чтобы спокойно обдумать, что же предпринять мне в Париже.

Я присел на траву. Я погрузился в размышления, которые мало-помалу свелись к трем главным вопросам. Мне необходима была немедленная помощь для бесчисленного количества неотложных нужд. Мне необходимо было найти пути,

сулящие по крайней мере надежды на будущее, и, что было не менее важно, необходимо было собрать сведения и принять меры предосторожности ради нашей с Манон безопасности. Исчерпав все планы и комбинации по этим трем статьям, я счел за благо пренебречь двумя последними. Мы были бы достаточно надежно скрыты в какой-нибудь комнате, снятой в Шайо, а относительно будущих наших нужд, полагал я, еще найдется время подумать, когда настоящие будут удовлетворены.

Итак, вопрос состоял в том, как в данное время пополнить мой кошелек. Г-н де Т... великодушно предлагал мне свой, однако я испытывал крайнее отвращение от одной только мысли самому напомнить ему об этом. Кто решится пойти рассказать о своей нищете чужому человеку и просить его поделиться с тобой своим достатком? Только подлая душа способна на это по своей низости, не дающей чувствовать постыдность такого поступка, или же смиренный христианин по избытку великодушия, который возвышает его над чувством стыда. Я не был ни подлецом, ни добрым христианином: я бы пожертвовал полжизни, лишь бы избежать такого унижения. «Тиберж,— сказал я себе,— добрый мой Тиберж, откажет ли он мне в чем-либо, коли у него есть хоть малейшая возможность? Нет, он будет тронут моей нищетой, но он уморит меня своими нравоучениями; придется претерпеть его упреки, увещания, угрозы; он продаст мне так дорого свою помощь, что я скорее пожертвую своей кровью, чем подвергнусь горестному

испытанию, которое смутит мне душу новыми угрызениями совести. Хорошо! — продолжал я рассуждать,— надо, следовательно, отказаться от всякой надежды, раз мне не остается никакой иной дороги, и раз обе они так мне претят, что я охотнее пролил бы половину своей крови, нежели ступил бы на одну из них, то есть предпочел бы пролить всю свою кровь, нежели пойти по обоим путям. Да, всю мою кровь,— прибавил я после минутного раздумья;— конечно, я отдал бы ее охотнее, чем согласился бы прибегнуть к унизительным мольбам. Но разве дело идет о моей крови! Дело идет о жизни и о существовании Манон, о ее любви, о ее верности. Что положу я на другую чашу весов? Доныне ничто другое не имеет для меня цены. Она заменяет мне славу, счастие, богатство. Есть несомненно много вещей, ради которых я пожертвовал бы жизнью, чтобы получить их или чтобы избежать; но почитать какую-либо вещь дороже своей жизни — не значит почитать ее столь же, сколь Манон». Я не долго колебался после сего рассуждения и возобновил путь, решив сначала идти к Тибержу, а от него к г-ну де Т...

Войдя в Париж, я взял извозчика, хотя и не имел возможности расплатиться с ним; я рассчитывал на помощь, о которой шел просить. Я велел везти себя к Люксембургскому саду, откуда послал сказать Тибержу, что жду его. Он явился скорее, чем я мог ожидать. Без всяких околичностей я поведал ему о своей крайней нужде. Он спросил, хватит ли мне тех ста пистолей, что я ему вернул; и, без единого возражения, тотчас

же отправился раздобыть их для меня с той открытой и сердечной готовностью, какая свойственна только любви и истинной дружбе. Хотя я нимало не сомневался в успехе моей просьбы, я не ожидал, что это обойдется так дешево, то есть без всякого с его стороны выговора за мою нераскаянность. Однако я ошибался, думая, что избавился от его упреков, ибо, после того, как он отсчитал мне деньги, и я уже собирался проститься с ним, он попросил меня пройтись с ним по аллее. Я ничего не сказал ему о Манон; он не знал, что она на свободе, посему его наставления коснулись только безрассудного моего бегства из Сен-Лазара и опасения, как бы вместо того, чтобы воспользоваться уроками благоразумия, преподанными мне там, я не вступил снова на путь разврата. Он сообщил мне, как, отправившись навестить меня в тюрьме на другой день после моего бегства, он поражен был выше всякой меры, узнав, каким образом я вышел оттуда; как он беседовал об этом с настоятелем; как добрый отец все еще не мог оправиться от ужаса; как, тем не менее, он скрыл великодушно от начальника полиции обстоятельства моего исчезновения и постарался, чтобы смерть привратника не стала известной в городе; итак, по его словам, все складывалось для меня благополучно; но, ежели во мне осталась хоть малейшая крупица благоразумия, я должен воспользоваться счастливым оборотом дела, даруемым мне небом; я должен прежде всего написать отцу и восстановить добрые с ним отношения; и, коль я последую хоть раз его советам, он полагает,

что мне следует покинуть Париж и возвратиться в лоно семьи.

Я выслушал его речь до конца. Многое в ней успокоило меня. Во-первых, я был в восторге, что могу ничего не опасаться со стороны Сен-Лазара. Парижские улицы становились для меня свободной страной. Во-вторых, я радовался, что Тиберж ничего не знает об освобождении Манон и о ее возвращении ко мне. Я заметил даже, что он избегает говорить о ней, явно думая, что она меньше занимает мое сердце, раз я так спокоен в отношении ее. Я решил если не возвратиться в семью, то во всяком случае написать отцу, как мне советовал Тиберж, и засвидетельствовать ему, что я готов исполнить свой долг и покориться его воле. Я надеялся выпросить у него денег под предлогом занятий в Академии, ибо мне трудно было бы его убедить, что я расположен вернуться в духовное сословие; да, в сущности, я был совсем не так далек от того, что собирался обещать ему. Напротив, мне даже улыбалось найти себе занятие достойное и разумное, лишь бы оно не препятствовало моей любви. Я рассчитывал жить с моей возлюбленной и в то же время заниматься в Академии. Это было вполне совместимо. Я настолько был успокоен всеми этими мыслями, что обещал Тибержу в тот же день отослать письмо отцу. И, расставшись с ним, я, действительно, зашел в почтовую контору и написал столь нежное и смиренное письмо, что, перечитывая его, льстил себя надеждой, что хоть немного смягчу родительское сердце.

Хотя, расставаясь с Тибержем, я был уже в состоянии нанять и оплатить извозчика, я доставил себе удовольствие гордо пройтись пешком к г-ну де Т... Мне хотелось вкусить сладость свободы, уверенность в которой вселил в меня мой друг, рассеяв все мои опасения. Но вдруг мне пришло в голову, что его успокоения касались только тюрьмы Сен-Лазара, а на мне ведь тяготело еще и похищение из Приюта, не считая смерти Леско, в которой я был замешан по меньшей мере как свидетель. Соображение это так меня испугало, что я скрылся в первую же аллею и оттуда крикнул карету. Я направился прямо к г-ну де Т..., который посмеялся над моими опасениями. Они и мне самому показались смешны, когда он сообщил, что ни в отношении Приюта, ни в отношении Леско мне нечего бояться. Он рассказал, что, опасаясь как бы не заподозрили его участия в похищении Манон, он на утро отправился в Приют и выразил желание ее видеть, притворившись, будто ничего не знает о происшедшем; там были так далеки от подозрений нас обоих, что, напротив, поспешили рассказать ему эту новость как странное происшествие, удивляясь, что такая красавица, как Манон, решила бежать со служителем; г-н де Т... ограничился сухим замечанием, что ничему не удивляется и что ради свободы можно пойти на все. Он продолжал свой рассказ: оттуда он направился к Леско, надеясь застать меня и мою очаровательную возлюбленную; хозяин дома, каретник, заявил, что не видел ни ее, ни меня, но нет ничего удивительного, что мы не появлялись

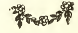
у Леско, потому что до нас несомненно дошла весть о его убийстве, случившемся приблизительно в то же самое время. Он не отказался сообщить и то, что знал о причине и обстоятельствах его смерти. За два часа перед тем один из гвардейцев, приятелей Леско, зашел к нему и предложил сыграть в карты. Леско так быстро обобрал его, что не прошло и часа, как тот оказался без ста экю, то есть с пустым карманом.

Несчастный, оставшись без гроша, попросил Леско одолжить ему половину проигранной суммы, и возникшая по этому поводу размолвка перешла в жесточайшую ссору. Леско отказался выйти на улицу для поединка, а тот пригрозил, уходя, проломить ему голову, что и исполнил в тот же вечер. Г-н де Т... имел любезность добавить, что он весьма беспокоился о нас, и вновь предложил мне свои услуги. Я не задумался открыть ему место нашего убежища. Он просил разрешения с нами отужинать.

Мне оставалось только купить белья и платьев для Манон, и я сказал ему, что мы можем ехать хоть сейчас, если он соблаговолит задержаться со мной на минуту у нескольких продавцов. Не знаю, подумал ли он, что, делая ему это предложение, я имею в виду воспользоваться его щедростью, или же то было просто порывом великодушия, но только, согласившись тотчас же ехать, он проводил меня к торговцам, бывшим поставщиками его дома; он предложил мне выбрать разных тканей, ценою превосходивших мои предположения, когда же я собирался заплатить, наотрез запретил купцам брать с меня хоть одно су.

Эта любезность была им оказана с такой благородной непосредственностью, что я мог не стыдясь воспользоваться ею. Мы вместе пустились по дороге в Шайо, куда я прибыл менее обеспокоенный, чем уходил оттуда.

Больше часа потратил кавалер де Грие на свой рассказ, и я попросил его немного отдохнуть и отужинать с нами. Наше внимание показало ему, что слушали мы его с интересом и удовольствием. Он уверял нас, что в дальнейшем мы найдем его историю еще более занимательной, и, когда мы поужинали, продолжал в следующих выражениях.





ЧАСТЬ ВТОРАЯ



Мое присутствие и любезности г-на де Т... рассеяли последние остатки грусти Манон. «Забудем минувшие страдания, душа моя,— сказал я, вернувшись к ней,— и наша жизнь пойдет счастливее прежнего. В конце концов, Амур — добрый властелин; Фортуна не в силах причинить столько огорчений, сколько радостей он дает нам вкусить». Ужин озарен был подлинным весельем.

С моей Манон и с сотней пистолей в кармане я чувствовал себя более гордым и довольным, чем самый богатый парижский откупщик среди накопленных им сокровищ: богатства надлежит исчислять средствами, какими располагаешь для удовлетворения своих желаний; а у меня не оста-

валось ни одного неисполненного желания. Даже будущность наша мало меня смущала. Я был почти уверен, что отец не откажет снабдить меня достаточными средствами для безбедной жизни в Париже, ибо к двадцати годам я вступал в права наследования своей доли материнского состояния. Я не скрывал от Манон, что мой наличный капитал ограничивается сотней пистолей. Этого было достаточно, чтобы спокойно ожидать лучшего будущего, которое не должно было миновать меня, будь то по праву моего рождения либо благодаря удачам в игре.

Итак, в течение первых недель я не думал ни о чем, кроме наслаждений; чувство чести, равно как некоторая осторожность в отношении полиции, заставляли меня со дня на день откладывать возобновление связей с Сообществом игроков Трансильванского дворца, и я ограничился игрой в нескольких собраниях, не бывших на таком дурном счету, а милости судьбы избавили меня от необходимости прибегнуть к унизительному плутовству.

Я проводил в городе часть послеобеденного времени и возвращался к ужину в Шайо, нередко в сопровождении г-на де Т..., дружба которого к нам крепла день ото дня. Манон нашла себе средство от скуки. Она сошлась с несколькими молодыми дамами, которые весной поселились по соседству с нами. Прогулки чередовались с разными затеями, свойственными женскому полу. Играя по маленькой, они оплачивали выигрышами стоимость кареты. Они совершали поездки в Булонский лес, чтобы подышать свежим воз-

духом, и, возвращаясь вечером, я заставал Манон красивою, довольною, страстною, как никогда.

И все-таки тучи омрачили горизонт моего счастья. Правда, они вскоре начисто рассеялись, и шаловливый нрав Манон сделал развязку столь забавною, что и поныне услаждаюсь я воспоминанием о ее нежности и прелести ее души.

Единственный слуга, составлявший всю нашу челядь, отвел меня однажды в сторону и, смущаясь, сказал, что должен сообщить мне важную тайну. Я ободрил его, вызывая на откровенность. После некоторого предисловия он дал мне понять, что некий знатный чужеземец, по-видимому, весьма увлекся мадемуазель Манон. От волнения вся кровь во мне закипела. «Увлечена ли и она им?» — перебил я его с большей порывистостью, нежели позволяло благоразумие. Моя горячность испугала его.

Обеспокоенный, он отвечал, что сведения его не идут так далеко; но, наблюдая в течение нескольких дней, что чужеземец этот неуклонно является в Булонский лес, там выходит из своей кареты и, уединяясь в боковые аллеи, явно ищет случая увидеть или встретиться с мадемуазель Манон, решил он завязать знакомство с его слугами, дабы выведать имя их господина; слуги титулуют его итальянским князем, и сами подозревают тут любовное приключение; других сведений, прибавил он, дрожа, ему добыть не удалось, потому что князь, появившись в это время из лесу, развязно подошел к нему и спросил о его имени. Затем, точно догадавшись, что он

состоит у нас в услужении, он поздравил его с самой очаровательной хозяйкой на свете.

Я с нетерпением ожидал продолжения рассказа. Он закончил его робкими извинениями, которые я приписал своей невольной горячности. Напрасно я убеждал его говорить дальше и без утайки. Он заявил, что ничего больше не знает, и, так как то, о чем сообщил он мне, произошло всего лишь накануне, он не имел времени повидать еще раз слуг князя. Я поощрил его не только похвалами, но и щедрой наградой, и, не обнаруживая ни малейшего недоверия к Манон, более спокойным тоном наказал ему следить за каждым шагом чужеземца.

Испуг его, в сущности, посеял во мне жестокие сомнения. Под влиянием страха он мог утаить долю истины. Однако, поразмыслив, я несколько успокоился и даже пожалел, что поддался слабости. Не мог же я обвинить Манон в том, что в нее кто-то влюбился. Было много данных за то, что она оставалась в неведении своей победы; да и во что бы превратилась моя жизнь, если бы я так легко поддавался чувству ревности?

На другой день я вернулся в Париж с единственным намерением, начав большую игру, ускорить свое обогащение, чтобы быть в состоянии покинуть Шайо при первом же поводе к тревоге. В тот вечер я не узнал ничего такого, что бы могло нарушить мой покой. Чужеземец опять появлялся в Булонском лесу и на правах знакомства, завязанного накануне с моим слугой, стал говорить о любви своей, однако в таких выражениях, которые не указывали ни на какую

взаимность со стороны Манон. Он выспрашивал у него множество подробностей. Наконец, сделал попытку подкупить его щедрыми посулами и, вынув приготовленное заранее письмо, тщетно предлагал ему несколько золотых, ежели он возьмется передать его своей госпоже.

Прошло два дня без всяких других происшествий. На третий тучи сгустились. Вернувшись домой довольно поздно, я узнал, что Манон во время прогулки ненадолго отошла в сторону от своих приятельниц и, когда чужеземец, следовавший за ней на небольшом расстоянии, приблизился к ней по ее знаку, она вручила ему письмо, которое он принял с восторгом. Свое восхищение он успел выразить только тем, что нежно поцеловал письмо, так как Манон тотчас же скрылась. Но весь остальной день она казалась чрезвычайно веселой, и радостное настроение не покинуло ее и после возвращения домой. Разумеется, меня охватывала дрожь при каждом слове рассказа. «Уверен ли ты,— печально спросил я слугу,— что глаза не обманули тебя?» Он призвал небо в свидетели истины своих слов.

Не ведаю, до чего довели бы меня сердечные терзания, ежели бы Манон, услышав как я вошел, не явилась ко мне, тревожась и жалуясь на мое промедление. Не дожидаясь ответа, она осыпала меня ласками, а когда мы остались наедине, принялась горячо упрекать меня за мои поздние возвращения, вошедшие в привычку. Так как я молчал и не прерывал ее речи, она сказала мне, что вот уже три недели, что я ни одного дня

целиком не провел с нею; что она не может вынести столь долгих моих отлучек; что она просит хотя бы иногда дарить ей целый день и что начиная с завтрашнего дня она желает видеть меня около себя с утра до вечера.

«Я останусь с вами, не беспокойтесь», ответил я ей довольно резко. Она мало обратила внимания на мой расстроенный вид и в порыве радости, которая, правда, показалась мне чрезмерною, принялась описывать забавнейшим образом, как она провела день. «Странная девушка! — сказал я себе; — что должен ожидать я после такого вступления?» Мне пришло на память приключение, связанное с нашей первой разлукой. А между тем и радость ее и ласки казались мне проникнутыми искренним чувством, согласовавшимся с их внешней видимостью.

Мне не трудно было приписать свою печаль, которой я не мог преодолеть пока мы сидели за ужином, досаде на проигрыш. А то, что она сама попросила меня не уезжать из Шайо на следующий день, мне представлялось чрезвычайно благоприятным. Тем самым я выигрывал время для размышлений. Мое присутствие устраняло все опасения на ближайший день; и, если не случится ничего, что̀ бы заставило меня объясниться с ней откровенно, я принял уже решение еще через день перебраться с ней в город и поселиться в таком квартале, где бы я был избавлен от столкновений с какими бы то ни было князьями. Благодаря такому решению я провел ночь спокойнее, хотя оно и не избавило меня от мучительных опасений новой ее измены.

Когда я проснулся, Манон объявила мне, что она вовсе не желает, чтобы, оставаясь дома на целый день, я меньше заботился о своей наружности, и что она желает собственноручно причесать меня. Волосы у меня были прекрасные. Не раз она доставляла себе подобное развлечение. Но тут она постаралась, как никогда. Следуя ее настояниям, я должен был усесться за туалет и выдержать все ее опыты над моею прическою. Во время работы она то и дело поворачивала меня к себе лицом и, опершись руками о мои плечи, смотрела на меня с жадным любопытством; затем, выразив свое удовлетворение двумя-тремя поцелуями, заставляла меня принимать прежнее положение, чтобы продолжать свое дело.

Баловство это заняло все время до самого обеда. Увлечение ее казалось мне столь естественным, веселость столь безыскусственной, что я не мог примирить столь длительные знаки внимания ни с какими планами черной измены и несколько раз уже готов был открыть ей свое сердце и освободиться от бремени, начинавшего меня тяготить. Но всякий раз я льстил себя надеждой, что она сама пойдет на откровенность, и уже предвкушал всю сладость торжества.

Мы вернулись в ее комнату. Она стала приводить в порядок мои волосы, и я уступал всем ее прихотям, как вдруг доложили, что князь де ... желает ее видеть. Имя это привело меня в полное исступление. «Как! — вскричал я, отталкивая ее.— Кто? Какой князь?» Она не отвечала на мои вопросы. «Просите,— сказала она холодно слуге; и, обратившись ко мне, продолжа-

ла чарующим голосом: — Любимый мой! Мой обожаемый, прошу тебя, минуточку будь снисходителен ко мне, минуточку, одну минуточку; я полюблю тебя в тысячу раз сильнее; всю жизнь буду тебе благодарна».

Негодование и неожиданность сковали мне язык. Она возобновила свои настояния, а я не находил слов, чтобы отвергнуть их с презрением. Но, услыхав как отворилась дверь прихожей, она одной рукой схватила меня за распущенные волосы, другой взяла небольшое зеркало, напрягла все свои силы, чтобы протащить меня в этом странном виде до дверей и, распахнув их коленом, показала чужеземцу, которого шум заставил остановиться посреди комнаты, зрелище, немало, вероятно, его изумившее. Я увидел человека, весьма изысканно одетого, но довольно-таки невзрачного на вид.

Крайне смущенный всей этой сценой, он не преминул, однако, отвесить глубокий поклон. Манон не дала ему времени открыть рот. Она протянула ему зеркало. «Взгляните сюда,— сказала она ему,— посмотрите на себя хорошенько и отдайте мне справедливость. Вы просите моей любви. Вот человек, которого я люблю и поклялась любить всю жизнь. Сравните сами. Если вы полагаете, что можете оспаривать у него мое сердце, укажите мне к тому основания, ибо в глазах вашей покорнейшей служанки все князья Италии не стоят волоса из тех, что я держу в руке».

Во время этой странной речи, очевидно обдуманной ею заранее, я делал тщетные попытки

высвободиться и, испытывая сострадание к знатному посетителю, довольно важному на вид, уже собирался искупить вежливым обхождением нанесенное ему легкое оскорбление. Однако он быстро овладел собой, и его ответ, показавшийся мне грубоватым, изменил мои намерения. «Сударыня, сударыня,— сказал он, обращаясь к Манон с принужденной улыбкой;— у меня действительно раскрылись глаза, и я вижу, что вы гораздо опытнее, нежели я воображал».

Он немедленно удалился, даже не взглянув на нее и бормоча сквозь зубы, что француженки не больше стоят, чем итальянки. Я не испытывал при этом ровно никакого желания внушить ему лучшее мнение о прекрасном поле.

Манон выпустила мои волосы, бросилась в кресло и разразилась долго не смолкавшим смехом. Не скрою, что я был растроган до глубины сердца этой жертвой, каковую мог я приписать только любви. Вместе с тем подобная выходка, казалось мне, переходила все границы. Я не мог воздержаться от упреков. Она рассказала мне, что мой соперник после того, как в течение нескольких дней преследовал ее в Булонском лесу, пылкими взглядами намекая на свои чувства, решил открыто объясниться с ней в письме, подписанном полным его именем со всеми титулами, которое передал ей при посредстве кучера, возившего ее с подругами на прогулку; что он обещал ей по ту сторону Альп блестящее состояние и вечное поклонение; что она возвратилась в Шайо, решив сообщить мне об этом приключении; но, рассудив, что мы можем позабавиться на его

счет, не могла удержаться от искушения; в льстивом ответном письме она пригласила итальянского князя навестить ее и доставила себе лишнее удовольствие тем, что вовлекла меня в свой план, не возбудив во мне ни малейшего подозрения. Я не проронил ни слова о тех сведениях, которые получил другим путем, и в опьянении торжествующей любви мог только одобрить все ее поступки.

В течение всей своей жизни я замечал, что небо, дабы покарать меня самыми жестокими наказаниями, всегда выбирало время, когда счастие казалось мне особенно прочным. Я чувствовал себя таким счастливым дружбою г-на де Т... и нежностью Манон, что не мог и представить себе, будто мне может грозить какая-нибудь новая напасть. А между тем судьба готовила мне еще более тяжелый удар, и это довело меня до того состояния, в каком вы видели меня в Пасси, и, шаг за шагом, до таких горестных крайностей, что вам трудно будет поверить моему правдивому повествованию.

Однажды, когда мы ужинали в обществе г-на де Т..., нам послышался шум кареты, остановившейся у ворот гостиницы. Любопытство побудило нас узнать, кто мог приехать в такой поздний час. Нам доложили, что это молодой Г... М..., то есть сын нашего злейшего врага, того старого развратника, который заточил меня в тюрьму Сен-Лазар, а Манон в Приют. При этом имени кровь бросилась мне в лицо. «Само небо привело его к мне, чтобы он понес наказание за низость своего отца,— сказал я г-ну де Т.... — Ему не

уйти от меня, покуда мы не скрестим наших шпаг». Г-н де Т..., знавший его и даже состоявший в числе его ближайших друзей, постарался разубедить меня. Он уверял, что это очень милый, благородный юноша, неспособный принимать участие в дурных поступках своего отца, и, если я повидаю его хотя бы одну минуту, я не смогу отказать ему в уважении и буду добиваться ответного чувства с его стороны. Прибавив еще многое в его пользу, он попросил у меня разрешения сходить за ним и пригласить отужинать с нами. Возражение об опасности, которой подвергнется Манон, если место ее пребывания будет обнаружено сыном нашего врага, он предупредил, поклявшись честью, что, познакомившись с ним, мы обретем в его лице самого ревностного защитника. После таких уверений мне оставалось только согласиться на все.

Г-н де Т... привел его, предварительно сообщив, кто мы такие. Он вошел с поклоном, и его любезные маперы действительно расположили нас в его пользу. Он обнял меня; мы уселись. Он восхищался Манон, мною, нашей обстановкой и ел с аппетитом, отдавая честь ужину.

Когда убрали со стола, разговор принял более серьезное направление. Опустив глаза, он заговорил об оскорблении, нанесенном нам его отцом, и стал почтительно извиняться перед нами. «Я сокращаю свои извинения,— сказал он,— дабы не будить воспоминаний, слишком постыдных для меня». Искреннее с самого начала, его дружеское расположение в дальнейшем стало еще более искренним, ибо наша беседа не длилась и получаса,

как я заметил впечатление, какое производили на него прелести Манон. Взгляды и манеры его становились все нежнее. В речах его однако не проскальзывало ничего; но, и не ревнуя, я обладал слишком большим опытом в любви, чтобы не угадать его чувств.

Он оставался в нашем обществе допоздна и, прежде чем расстаться, выразил удовольствие по поводу знакомства с нами и попросил позволения иногда посещать нас, уверяя во всегдашней готовности к услугам. Он уехал поутру в своей карете вместе с г-ном де Т... .

Как я сказал, я вовсе не был склонен к ревности. Более чем когда-либо, я верил клятвам Манон. Прелестное создание настолько владело моей душой, что малейшее мое чувство к ней было проникнуто уважением и любовью. Отнюдь не вменяя ей в вину того, что она понравилась молодому Г... М..., я восхищался действием ее красоты и гордился тем, что любим девушкой, которую все находят очаровательной. Я не почел даже уместным рассказать ей о своих подозрениях. В течение нескольких дней мы были заняты заботами о нарядах Манон и обсуждением того, можем ли мы поехать в театр, не опасаясь быть узнанными. Недели не прошло, как г-н де Т... опять навестил нас; мы спросили у него совета. Он понял, что в угоду Манон должен ответить утвердительно. Мы решили ехать в театр все вместе в тот же вечер.

И, однако, этому решению не суждено было осуществиться, ибо, тут же отведя меня в сторону, г-н де Т... сказал мне: «Со времени нашего

последнего свидания я нахожусь в крайнем смущении, и сегодняшний мой приезд вызван этим. Г... М... влюбился в вашу даму сердца; он признался мне в том. Я искренний его друг и готов во всем помогать ему; но я не меньший друг и вам. Считаю, что намерения его недостойны, и осуждаю их. Я сохранил бы его тайну, если бы он собирался применить лишь обычные средства, чтобы понравиться; но он хорошо осведомлен о нраве Манон. Он узнал, не ведаю откуда, что она любит роскошь и удовольствия, и, так как он уже располагает значительным состоянием, то объявил мне, что хочет сначала соблазнить ее каким-нибудь ценным подарком и годовым содержанием в десять тысяч ливров. При равных условиях, мне, может быть, стоило бы гораздо больших усилий выдать его, но справедливость присоединилась к дружбе в вашу пользу, тем более, что сам я опрометчиво послужил причиной его страсти, введя его в ваш дом, и потому обязан предупредить последствия зла, причиненного мною».

Я поблагодарил г-на де Т... за столь важную услугу и с такой же откровенностью признался ему со своей стороны, что характер Манон именно таков, каким представлял его себе Г... М..., то есть что слово «бедность» для нее нестерпимо. «Однако,— сказал я,— в тех случаях, когда дело идет лишь о большем или меньшем, я не считаю ее способной покинуть меня для другого. Я в состоянии обеспечить ее всем необходимым и рассчитываю, что мои средства будут расти изо дня в день. Боюсь лишь одного,— прибавил я,— как

бы Г... М... не повредил нам, воспользовавшись тем, что знает место нашего пребывания».

Г-н де Т... уверил меня, что в этом отношении я могу быть спокоен; что Г... М... способен на какую-нибудь безрассудную выходку, только не на низость; что ежели бы он имел подлость повредить нам чем-нибудь, то он, де Т..., первый наказал бы его за это и тем искупил бы свою оплошность, принесшую нам несчастие. «Почитаю себя обязанным вам за такие чувства,— ответил я,— но зло уже было бы сделано, лекарство же от него весьма сомнительно. Итак, благоразумнее всего предупредить беду, покинув Шайо, чтобы поселиться где-нибудь в другом месте». «Да,— ответил г-н де Т...,— но трудно вам будет сделать это с необходимою быстротою; ибо Г... М... должен быть здесь в полдень; он сказал мне об этом вчера, что́ и побудило меня явиться в такой ранний час и сообщить вам о его намерениях. Он может приехать с минуты на минуту».

Такие веские доводы заставили меня взглянуть на дело серьезнее. Полагая, что избежать посещения Г... М... уже невозможно, равно как невозможно, конечно, помешать ему открыть свои чувства Манон, я решил сам предупредить ее о намерениях нового моего соперника. Как я полагал, раз она будет знать, что мне известны предложения, которые он собирается ей сделать и раз она выслушает их у меня на глазах, у нее хватит силы воли отвергнуть их. Я поделился своей мыслью с г-ном де Т..., который ответил мне, что дело это крайне щекотливое. «Согласен,— сказал я,— но, если вообще можно быть уверенным в

своей любовнице, то привязанность ко мне Манон является для меня самым веским основанием подобной уверенности. Разве только самые блестящие предложения могли бы ее ослепить, но, как я уже вам сказал, корыстолюбие ей чуждо. Она любит удобства жизни, но она любит и меня; при настоящем положении дел я не поверю, чтобы она предпочла мне сына человека, который засадил ее в Приют». Словом, я остался при своем решении и, отведя в сторону Манон, откровенно ей рассказал обо всем, что только что узнал.

Поблагодарив меня за хорошее мнение о ней, она обещала так ответить на предложения Г... М..., чтобы у него пропала охота возобновить их в другой раз. «Нет,— сказал я ей,— не нужно раздражать его излишней резкостью: он может нам навредить. Но ты и без того знаешь, плутовка,— прибавил я, смеясь,— как отделаться от докучного или неудобного поклонника». Она задумалась, потом ответила: «У меня явилась восхитительная мысль, и я в восторге от своей выдумки. Г... М... — сын нашего злейшего врага; надо нам отомстить отцу не на сыне, а на его кошельке. Я выслушаю его, приму его подарки и одурачу его».

«План хорош,— сказал я,— но ты позабыла, бедное дитя, что это тот самый путь, который привел нас прямо в Приют».

Напрасно я рисовал ей всю опасность подобной затеи; она заявила, что дело только в том, чтобы принять меры предосторожности, и отвела все мои возражения. Укажите мне любовника, который не уступал бы слепо всем причудам бого-

творимой им возлюбленной, и я признаю, что был виноват, уступив ей так легко. Решение было принято — одурачить Г... М..., но по странной прихоти судьбы случилось так, что я сам был им одурачен.

Его карета появилась около одиннадцати часов. Он рассыпался в самых изысканных извинениях, что позволил себе приехать отобедать с нами. Он не был удивлен, застав у нас г-на де Т..., который обещал ему накануне прибыть сюда же, но под предлогом разных дел не поехал с ним в одном экипаже. Хотя среди нас не было человека, который бы не таил в сердце предательства, мы сели за стол с видом полного доверия и дружбы. Г... М... не трудно было найти случай открыть свои чувства Манон. Чтобы не показаться ему назойливым, я нарочно отлучился из комнаты на несколько минут.

Возвратившись, я заметил, что он отнюдь не обескуражен чрезмерно суровым отказом. Он находился в самом лучшем настроении. Я принял также весьма довольный вид; он внутренне посменвался над моей, а я над его простотой. В течение всего послеобеденного времени мы наблюдали друг за другом, забавляясь в душе. Перед его отъездом я дал ему возможность еще раз поговорить с Манон, так что он имел повод радоваться как моей любезности, так и славному угощению.

Едва он уселся в карету вместе с г-ном де Т..., как Манон подбежала ко мне с раскрытыми объятиями и расцеловала меня, заливаясь смехом. Она повторила мне его речи и его предложения,

не утаив ни слова. Они сводились к следующему: он обожает ее, желает разделить с ней сорок тысяч ливров ренты, каковой он располагает уже теперь, не считая того, что́ получит после смерти отца. Она будет владычицей его сердца и состояния; а в залог будущих благодеяний он готов ей предоставить карету, меблированный особняк, горничную, трех лакеев и повара.

«Вот сын, превосходящий щедростью своего отца,— воскликнул я.— Поговорим начистоту,— прибавил я,— не соблазняет ли вас это предложение?» — «Меня? Ничуть!» — ответила она и, в подтверждение своих слов, продекламировала стихи Расина:

Меня! подозревать, что я столь вероломна?
Меня! я вынесу ль черты, что приведут
На память мне всегда ужасный тот Приют?»

«Нет,— отвечал я, подхватывая пародию:

Я думать не хочу, что тот Приют, мадам,
Запечатлеть в душе любовь могла бы вам [53]».

«А все-таки меблированный особняк да еще с каретой и тремя лакеями — вещь соблазнительная, и у любви мало найдется таких приманок».

Она горячо возражала, что сердце ее принадлежит мне навеки и защищено от всяких любовных стрел, кроме моих. «Его обещания,— сказала она,— скорее жало мести, нежели стрела любви». Я спросил ее, намеревается ли она принять особняк и карету. Она ответила, что стремится только завладеть его деньгами.

Трудность заключалась в том, чтобы получить одно без другого. Мы решили ждать полного объяснения плана Г... М... в том письме, которое он обещал ей написать. Она действительно получила его на следующий день через лакея, явившегося переодетым и весьма ловко улучившего минуту поговорить с ней наедине. Она приказала ему подождать ответа и побежала ко мне с письмом. Мы вместе распечатали его.

Кроме банальных нежных фраз, оно содержало подробное изложение обещаний моего соперника. Он не скупился на расходы. Обязывался отсчитать ей десять тысяч ливров, как только она вступит во владение особняком, и всякий раз восполнять расходование этой суммы, чтобы полная ее наличность была всегда в ее распоряжении. Срок новоселья не отодвигался слишком надолго. Он просил предоставить ему только два дня на приготовления и указывал ей название улицы и особняка, где обещал ожидать ее на второй день пополудни, ежели ей удастся ускользнуть из моих рук. То был единственный пункт, который беспокоил его; во всем остальном он, казалось, был вполне уверен, однако прибавлял, что в случае если бежать от меня представится затруднительным, то он найдет средство облегчить ей побег.

Г... М... был хитрее своего отца. Он хотел овладеть своею добычей раньше, чем отсчитает ей деньги. Мы обсудили вопрос о том, какого поведения держаться Манон. Я попытался еще раз убедить ее выкинуть этот план из головы, представив ей все его опасности. Ничто не могло поколебать ее решения.

Она коротко ответила Г... М..., уверив его, что для нее не представляет затруднений приехать в Париж в назначенный день и что он может спокойно ее дожидаться.

Мы тут же условились, что я немедленно поеду и сниму для нас новое помещение в какой-нибудь деревне по другую сторону Парижа и перевезу с собой наше скромное имущество: что на следующий день пополудни, точно в назначенное время, Манон отправится в Париж; получив подарки Г... М..., она потребует, чтобы он поехал с ней в театр, и захватит с собой столько денег, сколько сможет унести на себе, а остальное передаст моему слуге, который по ее желанию должен был ее сопровождать. Это был все тот же человек, преданный нам беспредельно, который освободил ее из Приюта. Мне предстояло ждать с наемной каретой на углу улицы Сент-Андре-дез-Ар, и, оставив там экипаж, около семи часов [54] направиться в темноте к театральному подъезду. Манон обещала выдумать предлог отлучиться из ложи и воспользоваться этим мгновением, чтобы присоединиться ко мне. Остальное не представляло затруднений. Мы бы в одну минуту добежали до кареты и выехали из Парижа в Сент-Антуанское предместье, где лежал путь к нашему новому обиталищу.

План этот, как ни был он сумасброден, казался нам вполне осуществимым. Но в сущности безумием было воображать, что, даже если бы он удался самым благополучным образом, мы сможем уберечься навсегда от его последствий. И все-таки мы пошли на риск с самой безрас-

судной беспечностью. Манон уехала с Марселем: так звали нашего слугу. Я с грустью расставался с ней. Я обнял ее, говоря: «Манон, вы не обманываете меня? Будете ли вы мне верны?» Она ласково пожурила меня за недоверие и повторила еще раз все свои клятвы.

Она рассчитывала прибыть в Париж к трем часам. Я уехал вслед за ней. Остаток дня я провел в кофейной Фере, что у моста Сен-Мишель. Там я просидел до темноты. Тогда я вышел на улицу, нанял извозчика и оставил его, как мы условились, на углу улицы Сент-Андре-дез-Ар; затем пешком дошел до театрального подъезда. Я был удивлен, нигде не видя Марселя, который должен был ждать меня. Я запасся терпением на целый час, смешавшись с толпой лакеев и высматривая всех прохожих. Наконец, когда пробило семь часов, а я так и не заметил ни единого признака, имевшего какое-либо отношение к нашему плану, я взял билет в партер, чтобы посмотреть, сидят ли в одной из лож Манон и Г... М... Ни того, ни другой не было. Я снова вышел наружу и прождал еще четверть часа, вне себя от нетерпения и тревоги. Никто не появлялся; я вернулся к своей карете, не зная, что предпринять. Завидев меня, извозчик пошел мне навстречу и с таинственным видом сообщил, что вот уже час меня ожидает в карете какая-то миловидная женщина; что она спросила обо мне, указав мои приметы, и, услышав от него, что я должен вернуться, сказала, что будет терпеливо меня дожидаться.

Я тотчас же решил, что это Манон. Но, подойдя к карете, я увидел хорошенькое личико, не

похожее на нее: незнакомка первым делом спросила, имеет ли она честь говорить с кавалером де Грие? Я отвечал, что таково мое имя. «У меня есть для вас письмо, которое пояснит вам, зачем я здесь и откуда знаю ваше имя»,— сказала она. Я попросил ее дать мне срок прочесть его в соседнем кабачке. Она захотела последовать туда за мною и посоветовала занять отдельную комнату. «От кого это письмо?» — спросил я, всходя вместе с ней по лестнице. Вместо ответа она дала мне его прочесть.

Я узнал руку Манон. Вот, приблизительно, что она писала: Г... М... оказал ей такой галантный и великолепный прием, что превзошел все ее ожидания. Осыпал ее подарками, которым бы позавидовала королева. Тем не менее, она уверяла что не забыла меня в окружающем ее блеске; но, не добившись согласия Г... М... поехать с ней в тот же вечер в театр, она откладывает до другого дня удовольствие меня видеть; а, чтобы утешить меня немного в том огорчении, какое, она предвидит, принесет мне эта новость, она постаралась предоставить мне одну из красивейших девиц Парижа, которая и передаст мне письмо. Подписано: «ваша верная возлюбленная Манон Леско».

Для меня в этом письме заключалось нечто столь жестокое и оскорбительное, что несколько минут я не мог прийти в себя от гнева и огорчения, но, наконец, решил сделать усилие над собой и забыть навек мою неблагодарную и вероломную любовницу. Я бросил взгляд на девицу, стоявшую передо мною. Она была чрезвычайно хороша собой, и я бы очень хотел, пленившись ее красотой,

тоже стать вероломным и неверным; но я не находил в ней ни тех нежных и томных очей, ни той божественной стройности, ни тех красок, как бы наложенных кистью бога любви, словом, ни одной из тех неисчислимых прелестей, какими природа наделила коварную Манон. «Нет, нет,— сказал я ей, отводя взгляд,— неблагодарная, приславшая вас ко мне, слишком хорошо знает, что ваши попытки будут бесполезны. Возвратитесь к ней и передайте ей от меня: пусть она наслаждается своим преступлением и пусть наслаждается им, если может, без укоров совести; я покидаю ее безвозвратно и отрекаюсь в то же время от всех женщин, ибо они, хоть и не столь же пленительны, но, без сомнения, столь же подлы и вероломны».

В ту минуту я был готов броситься вон из комнаты и уйти совсем, отказавшись от всяких притязаний на Манон; мучительная ревность, раздиравшая мне сердце, сменилась печальным и угрюмым спокойствием, и мне тем ближе почуялось мое исцеление, что я не испытывал ни одного из тех бурных душевных движений, какие всегда волновали меня в подобных случаях. Увы, я столь же был одурачен любовью, сколь одурачен я был, как мне казалось, Г... М... и Манон.

Девица, принесшая мне письмо, видя, что я готов уже сбежать вниз по лестнице, спросила, не поручу ли я передать что-нибудь г-ну де Г... М... и его даме. Услышав сей вопрос, я возвратился в комнату и под влиянием перемены, которая покажется неправдоподобной людям, не испытавшим в жизни бурных страстей, от мнимого

спокойствия я вдруг перешел к припадку дикой ярости. «Ступай,— сказал я ей,— и передай изменнику Г... М... и его лживой любовнице, в какое отчаяние повергло меня твое проклятое письмо; но предупреди, что недолго им придется веселиться и что я своею рукой заколю их обоих». Я бросился на стул; шляпа моя упала по одну сторону, трость — по другую. Горькие слезы потекли ручьями из глаз моих. Приступ бешенства, который только что охватывал меня, сменился глубокой скорбью; я горько плакал, испуская стоны и вздохи. «Приблизься, дитя мое, приблизься ко мне,— вскричал я, обращаясь к девице,— ибо ты послана меня утешить. Скажи мне, ведомы ли тебе средства утешения от ярости и отчаяния, от жажды покончить с собой или убить двух предателей, кои не заслуживают прощения. Да, приблизься ко мне,— продолжал я, увидя как она сделала несколько робких, неуверенных шагов по направлению ко мне; — приди осушить мои слезы; приди вернуть мир моему сердцу; приди и скажи, что ты меня любишь, пусть меня полюбит иное существо, кроме моей неверной. Ты красива; быть может и я смогу полюбить тебя». Бедная девушка, на вид не старше шестнадцати-семнадцати лет, обладавшая, по-видимому, большею стыдливостью, нежели ей подобные, была крайне поражена столь странной сценой. Тем не менее она приблизилась, желая приласкать меня; но я сейчас же отстранил ее, оттолкнув обеими руками. «Чего ты хочешь от меня? — сказал я ей.— Ты женщина; твой пол я ненавижу, отныне он невыносим для меня. Нежность твоего взгляда

грозит мне новым предательством. Уйди, оставь меня здесь одного». Она поклонилась, не смея произнести ни слова, и повернулась к выходу. Я закричал, требуя, чтобы она остановилась. «Скажи же мне по крайней мере,— продолжал я,— как, почему и зачем тебя послали сюда? Как ты узнала мое имя и место, где можешь найти меня?»

Она рассказала, что давно знает г-на де Г... М...; что он прислал за нею в пять часов лакея, который привел ее в большой особняк, где она застала Г... М..., играющего в пикет с красивой дамой, и что они оба поручили ей передать мне это письмо, причем указали, что она найдет меня в карете в конце улицы Сент-Андре. Я спросил ее, не говорили ли они ей еще чего-нибудь. Покраснев, она пролепетала, что они внушили ей надежду на сближение со мной. «Тебя обманули, бедняжка,— сказал я ей,— тебя обманули. Ты — женщина и тебе нужен покровитель; но тебе нужно, чтобы он был богат и счастлив, и не здесь ты найдешь такого. Вернись, вернись к г-ну де Г... М...; он обладает всем необходимым для любви красоток; он может дарить меблированные особняки и кареты. Что до меня, который ничего не может предложить, кроме любви и постоянства, то женщины презирают мою нищету и забавляются моей наивностью».

Я прибавил еще много слов, то печальных, то гневных, по мере того, как то одна, то другая страсть, обуревавшая меня, или ослабевала или брала верх. Между тем мое исступление, истерзав меня, утихло настолько, что уступило место

размышлению. Я стал сравнивать последнее несчастие с другими подобными, уже испытанными мною, и пришел к выводу, что не было бóльших оснований предаваться отчаянию, нежели прежде. Я достаточно знал Манон: зачем же так сокрушаться над несчастием, которое давно следовало предвидеть? Не лучше ли употребить свои силы на то, чтобы отыскать средство исцеления? Было еще не поздно. Я должен был, во всяком случае, приложить к тому все старания и впоследствии не упрекать себя в том, что своей нерадивостью способствовал собственным страданиям. Затем я стал изыскивать средства, которые могли бы открыть мне путь к надежде.

Попытаться насильственно вырвать Манон из рук Г... М..., значило пойти на отчаянный шаг, который бы только погубил меня и не предвещал никакого успеха. Однако мне казалось, что если бы я мог добиться хоть самого краткого с нею разговора, я непременно отвоевал бы частицу ее сердца; я знал так хорошо все ее слабые стороны. Я так был уверен в ее любви ко мне. Даже причуда послать мне в утешение красивую девицу, бьюсь об заклад, исходила от нее и была навеяна состраданием к моему горю.

Я решил пустить в ход всю свою изобретательность, чтобы увидеть Манон. Из всех путей, что перебрал я мысленно один за другим, я остановил выбор на следующем: г-н де Т... оказал мне такую дружескую услугу при первом нашем знакомстве, что я не мог сомневаться в искреннем и горячем чувстве его ко мне. Я предполагал немедленно направиться к нему и попросить его,

под предлогом важного дела, пригласить к себе Г... М... Мне нужно было только полчаса, чтобы поговорить с Манон. Намерение мое состояло в том, чтобы проникнуть к ней в комнату, и я полагал, что в отсутствие Г... М... это не представит затруднений.

Успокоенный таким решением, я щедро наградил девицу, все еще остававшуюся со мной, а чтобы она пе возвращалась к пославшим ее, я взял ее адрес, подав ей надежду, что проведу с нею ночь. Я сел опять в карету и приказал извозчику везти меня во всю прыть к г-ну де Т... По счастью я его застал; дорогой я очень беспокоился об этом. В двух словах я посвятил его в свои страдания и объяснил, какой услуги прошу от него.

Известие, что Г... М... соблазнил Манон, так поразило его, что, не зная о моем собственном участии в постигшей меня беде, он великодушно предложил собрать всех своих друзей и с оружием в руках освободить мою возлюбленную.

Я дал ему понять, что огласка, какую вызовет это предприятие, может оказаться гибельной для Манон и для меня. «Не будем проливать крови,— сказал я ему,— оставим это на крайний случай. Мне пришел в голову план, более осторожный и сулящий не меньший успех». Он выразил полную готовность сделать все, чего бы я от него ни потребовал; и, когда я повторил, что он должен только вызвать Г... М... для разговора и задержать его часа на два вне дома, он сейчас же отправился со мной, чтобы исполнить мою просьбу.

Мы стали изыскивать средство задержать его на такое долгое время. Я посоветовал прежде

всего написать ему короткую записку, приглашающую его немедленно прийти в такую-то таверну по важному и совершенно неотложному делу. «Я подсмотрю,— прибавил я,— как он выйдет и беспрепятственно проникну в дом, где меня знают лишь Манон и Марсель, мой слуга. Вы же, оставаясь все это время с Г... М..., можете сказать ему, что то важное дело, о коем вы желаете поговорить с ним, касается денег; что вы потеряли в игре всю свою наличность и проигрались еще больше, продолжая играть на честное слово с тем же неуспехом. Чтобы пойти с вами и достать свои сбережения, ему потребуется время, а этого будет достаточно для осуществления моего намерения».

Г-н де Т... исполнил все точь-в-точь, как я ему сказал. Я оставил его в таверне, где он наскоро написал письмо. Я спрятался в нескольких шагах от дома Манон, увидел, как появился посыльный с письмом и как через минуту вышел Г... М... в сопровождении лакея. Дав ему время скрыться из виду, я подошел к дверям моей изменницы и, несмотря на весь свой гнев, постучал с благоговением, как в двери храма. По счастию отворил мне Марсель. Я подал ему знак молчать; хотя мне нечего было бояться прочих слуг, я шепотом спросил, может ли он провести меня незаметно в комнату, где находится Манон. Он ответил, что это ничего не стоит сделать, подпявшись осторожно по главной лестнице. «Идем же скорее,— сказал я,— и последи, покуда я там буду, чтобы никто не вошел». Я беспрепятственно проник в ее покои.

Манон была занята чтением. Тут я имел случай убедиться в изумительном нраве этой странной девушки. Ничуть не испугавшись, не обнаружив никакой робости при виде меня, она выказала лишь легкое удивление, неизбежное при неожиданном появлении человека, которого почитали отсутствующим. «Ах, это вы, любовь моя,— сказала она, обнимая меня с обычной нежностью.— Боже! какой же вы смелый! Кто бы мог ожидать вас здесь сегодня?» Я высвободился из ее объятий и, не желая отвечать на ее ласки, оттолкнул ее с презрением и отступил подальше. Мое движение привело ее в замешательство. Она замерла и смотрела на меня, изменившись в лице.

В глубине души я так был очарован, видя ее вновь, что, несмотря на столько поводов для гнева, почти не в силах был открыть рта, чтобы бранить ее. А между тем сердце мое истекало кровью от жестокого оскорбления, нанесенного ею; я живо воскресил его в памяти, дабы возбудить в себе злобу, и постарался притушить в глазах огонь любви. Покуда я продолжал молчать и она не могла не заметить моего возбуждения, я увидел, что она дрожит, вероятно, от страха.

Я не мог выдержать этого зрелища. «Ах, Манон,— сказал я ей нежно,— неверная, коварная Манон! С чего начну я свои жалобы? Я вижу, вы побледнели и дрожите, и я все еще настолько чувствителен к малейшему вашему страданию, что боюсь вас слишком удручить своими укорами. Но, поверьте, Манон, ваша измена пронзила мне сердце скорбью. Таких ударов не наносят любимому, если не желают его смерти. Ведь это третий раз,

Манон; я вел им точный счет; этого забыть нельзя. Вам надлежит сию же минуту принять то или иное решение, ибо мое бедное сердце уже не может выдержать столь жестокое испытание. Я чувствую, что оно изнемогает и готово разорваться от скорби. Я весь разбит,— прибавил я, опускаясь на стул,— я не в состоянии говорить, силы мои иссякли».

Она не отвечала; но, как только я сел, она упала на колени и склонилась ко мне головой, закрыв лицо моими руками. В тот же миг я ощутил на них ее слезы. Боги! чего я только не испытывал... «Ах, Манон, Манон,— продолжал я вздыхая,— поздно дарить мне слезы, когда вы нанесли мне смертельный удар. Вы предаетесь притворной печали, а почувствовать ее вам не дано. Мое присутствие, которое всегда служило помехою вашим удовольствиям, без сомнения, составляет величайшее несчастие для вас. Откройте глаза, вглядитесь, каков я; столь нежных слез не проливают над несчастным, коего предали и покинули столь бесчеловечно».

Она целовала мне руки, не меняя позы. «Непостоянная Манон,— заговорил я снова,— неблагодарная и неверная женщина, где ваши обещания и ваши клятвы? Ветреная, жестокая любовница, что сделала ты со своей любовью, в которой клялась мне еще сегодня? Праведные небеса,— воскликнул я,— вот как смеется над вами вероломная, после того как столь благоговейно призывала вас в свидетели! Итак, вероломство вознаграждается. Отчаяние и одиночество — вот удел постоянства и верности».

Слова мои сопровождались столь горькими размышлениями, что слезы невольно катились из моих глаз. По изменившемуся моему голосу Манон заметила, что я плачу. Она прервала, наконец, молчание. «Да, я виновна, раз я причинила вам столько горя и волнения,— сказала она печально,— но да покарают меня небеса, если я сознавала или предвидела свою вину».

Речь ее показалась мне столь лишенной всякого здравого смысла и правдоподобия, что я не мог удержаться от сильнейшего приступа гнева. «Какое чудовищное притворство! — вскричал я.— Яснее, чем когда-либо, я вижу, что ты просто обманщица и лгунья. Теперь я знаю твой низкий характер. Прощай, подлое создание,— продолжал я, вставая; — я предпочитаю тысячу раз умереть, нежели иметь что-либо общее с тобою. Да покарают меня небеса, если отныне я удостою тебя хоть одним взглядом. Оставайся со своим новым любовником, люби его, презирай меня, забудь о чести, о благородстве; я смеюсь над вами, мне все равно».

Она пришла в такой ужас от моего исступления, что, все еще стоя на коленях у моего стула, смотрела на меня, дрожа и не смея дышать. Я сделал несколько шагов по направлению к двери, обернувшись к ней и не сводя с нее глаз, но надо было потерять последнее человеческое чувство, чтобы устоять против такого очарования.

Мне было столь чуждо варварское бессердечие, что, перейдя внезапно к противоположной крайности, я вернулся, или, скорее, бросился к ней, позабыв обо всем. Я заключил ее в объятия,

осыпал бесчисленными нежными поцелуями, просил прощенья за мою вспыльчивость; сознался, что был груб, что не заслуживаю счастья быть любимым такою девушкой, как она.

Я усадил ее и, став перед ней на колени, заклинал выслушать меня. В немногих словах я выразил все, что только может изобрести самого почтительного, самого нежного покорный и страстный любовник. Я умолял ее, как о милости, сказать, что она прощает меня. Она уронила руки мне на плечи, говоря, что сама нуждается в моей доброте, чтобы загладить те огорчения, которые мне причинила, и что она начинает опасаться, и не без оснований, в силах ли я внять тем доводам, какие она может привести в свое оправдание. Я перебил ее тотчас же: — «О, я не прошу у вас оправданий! Я одобряю все, что вы сделали. Не мне требовать отчета в вашем поведении. Я буду слишком удовлетворен, слишком счастлив, если моя дорогая Манон не лишит меня нежности своего сердца. Но,— продолжал я, раздумывая о своей участи,— всемогущая Манон, вы, по прихоти своей дающая мне радость и муки, разрешите мне, в награду за мое смирение и раскаяние, поведать вам о печали моей и тоске? Узнаю ли я от вас, чтó ждет меня сегодня и бесповоротно ли собираетесь вы подписать мне смертный приговор, проведя ночь с моим соперником?»

Она задумалась, прежде чем мне ответить. «Мой кавалер,— сказала она, успокоившись,— если бы вы сразу заговорили так ясно, вы бы уберегли себя от многих волнений, а меня от весьма тяжелой сцены. Раз ваши муки происходят лишь

от ревности, я бы их исцелила, предложив следовать за вами немедленно хоть на край света. Но я вообразила, что причиной вашего огорчения послужило письмо, которое я вам написала на глазах у г-на де Г... М..., и девица, посланная нами. Я подумала, что письмо мое вы приняли за насмешку, а увидев девицу, подосланную к вам, предположили, что я отказываюсь от вас ради Г... М... Вот эта мысль и привела меня в отчаянье, ибо, хотя я и не чувствую себя виновной, однако, поразмыслив, нашла, что внешние обстоятельства не говорят в мою пользу. И все-таки,— продолжала она,— я хочу, чтобы вы судили меня лишь после того, как я объясню вам всю правду».

Тут она рассказала мне все, что произошло после того, как она встретилась с Г... М..., ожидавшим ее в этом особняке. Он принял ее, действительно, как самую знатную принцессу в мире; показал ей все комнаты, убранные с удивительным вкусом и тщательностью; отсчитал ей десять тысяч ливров в ее спальне и присоединил к ним несколько драгоценностей, в том числе жемчужное ожерелье и браслеты, уже раз подаренные ей его отцом; оттуда повел ее в гостиную, которую она еще не видела, где ожидало ее великолепное угощение. Прислуживали им лакеи, которых он нанял для нее, приказав им смотреть на нее впредь как на свою госпожу; наконец, показал ей карету, лошадей и все остальные подарки; после чего предложил ей партию в пикет в ожидании ужина.

«Признаюсь вам,— продолжала она,— что была потрясена таким великолепием. Я рассудила, что

было бы жаль сразу лишиться нам стольких благ, удовольствовавшись десятью тысячами ливров и драгоценностями, которые я унесу на себе; что богатство это создано для вас и для меня, и мы могли бы жить в свое удовольствие на средства Г... М...

Вместо того, чтобы предложить ему поездку в театр, мне пришло в голову выяснить его отношение к вам, дабы предугадать, легко ли будет нам видеться в случае, если план мой удастся осуществить. Я обнаружила, что характера он очень покладистого. Он спросил, что я думаю о вас и жалко ли было мне вас покинуть. Я отвечала, что вы были так милы со мной, так благородно всегда держались по отношению ко мне, что странно было бы вас ненавидеть. Он признал, что вы достойны всяческого уважения и что он желал бы подружиться с вами.

Ему хотелось знать, как, по моему мнению, вы отнесетесь к моему отъезду, особенно когда узнаете, где я нахожусь. Я ответила, что начало нашей любви относится к такому давнему времени, что она успела уже немного остыть; что, с другой стороны, находясь в несколько стесненном положении, вы может быть даже не сочтете разлуку со мной большим несчастьем, потому что она избавляет вас от лишней обузы. Я прибавила, что будучи совершенно убеждена в ваших мирных намерениях, я просто сказала вам, что еду в Париж по делу; что вы согласились отпустить меня и, последовав за мной, не обнаружили особенного беспокойства, узнав, что я вас покинула.

«Знай я, что он склонен жить в мире со мною,— сказал он мне,— я первый бы предложил ему свои услуги и знакомство». Я уверила его, что, зная ваш характер, не сомневаюсь, что вы открыто пошли бы ему навстречу, особенно, добавила я, если он согласен вам помочь в ваших делах, весьма расстроенных с тех пор, как вы разошлись с семьей. Он прервал меня, заявив, что готов оказать вам всяческую помощь, зависящую от него, и если бы вы пожелали завязать новую любовную связь, готов предоставить вам хорошенькую любовницу, которую бросил ради меня.

Я приветствовала его мысль,— прибавила она,— дабы усыпить все его подозрения; и, укрепляясь все больше и больше в своем намерении, мечтала только изобрести способ вас уведомить, боясь, как бы вы не слишком встревожились, не найдя меня в назначенном месте. С этой-то целью, чтобы иметь повод написать вам, я и предложила ему направить к вам в тот же вечер новую любовницу: я была вынуждена прибегнуть к такой уловке, не имея надежды, что он хоть на минуту оставит меня одну.

Он рассмеялся над моим предложением, кликнул лакея и, спросив, может ли тот немедленно разыскать его прежнюю любовницу, послал его на поиски во все концы города. Он воображал, что ей предстоит отправиться к вам в Шайо; но я сообщила ему, что, уезжая, обещала встретиться с вами в театре, а если что-либо помешает мне быть там, вы будете меня дожидаться в карете в конце улицы Сент-Андре; поэтому лучше

будет туда и послать вашу новую любовницу хотя бы для того, чтобы вы не соскучились за ночь. Я прибавила, что следовало бы написать вам два слова, дабы предупредить об этой мене, которую иначе вам будет трудно понять. Он согласился; но я была принуждена писать в его присутствии и должна была остеречься от слишком откровенных объяснений в письме.

«Вот как все произошло,— прибавила Манон,— Я ничего не скрываю от вас, ни моего поведения, ни намерений. Девица явилась; я нашла ее красивой и, так как не сомневалась, что мое отсутствие причинит вам страдание, то искренно пожелала, чтобы она хоть на время сумела развлечь вас, ибо верность, которой я жду от вас, есть верность сердца. Я была бы в восторге, если бы имела возможность послать к вам Марселя; но я не могла улучить ни минуты, чтобы объяснить ему то, что должна была вам передать». Наконец, в заключение своего рассказа, она сообщила мне, в какое замешательство привела Г... М... записка, полученная им от г-на де Т... «Он колебался расстаться со мной,— сказала она,— и уверял, что не замедлит вернуться: вот почему меня беспокоит ваше присутствие здесь и оттого я была так поражена вашим появлением».

Я терпеливо слушал ее речь. Много, конечно, было в ней жестокого и унизительного для меня; ибо намерение ее изменить мне было столь очевидно, что она даже и не пыталась его скрыть. Не могла же она надеяться, что Г... М... оставит ее на всю ночь одну, как весталку. Итак, она рассчитывала провести ночь с ним. Какое признание

для любовника! Однако же я рассудил, что сам отчасти виноват, потому что сам рассказал ей о чувствах, которые питает к ней Г... М..., и проявил такую податливость, что слепо принял участие в осуществлении безумного ее плана. С другой стороны, по присущему мне свойству характера, я был тронут простодушием ее рассказа и той откровенностью, с которой она передавала все вплоть до самых оскорбительных для меня подробностей. «Она грешит, сама того не ведая,— говорил я себе; — она легкомысленна и безрассудна, но прямодушна и искренна». Прибавьте, что одной любви моей было достаточно, чтобы закрыть глаза на все ее проступки. Меня слишком радовала надежда похитить ее в этот же вечер у моего соперника. Тем не менее я спросил с горечью: «А с кем бы вы провели эту ночь?» Этот вопрос смутил ее. Она отвечала мне лишь отрывистыми *но* и *если*.

Я сжалился над ее затруднением и, оборвав разговор, прямо объявил, что предлагаю ей последовать за мной немедленно. «Хорошо,— сказала она,— но вы, значит, не одобряете моего плана?» — «Ах, разве не довольно и того,— возразил я,— что я одобряю все, что вы сделали до сих пор?» — «Как, неужели мы не возьмем с собой даже десяти тысяч ливров? — спросила она.— Он подарил их мне; они мои». Я посоветовал ей бросить все и думать лишь о том, как бы уйти поскорее; ибо, хотя я говорил с ней едва ли полчаса, я опасался возвращения Г... М... Между тем она так настойчиво убеждала меня не уходить с пустыми руками, что я почувствовал себя обя-

занным хоть в чем-нибудь ей уступить, после того как столького добился от нее.

Пока мы готовились в путь, я услышал стук в парадную дверь. Я нисколько не сомневался, что вернулся Г... М..., и при этой мысли в смятении объявил Манон, что, если он войдет, не быть ему в живых. Действительно, я не настолько еще овладел собой, чтобы проявить сдержанность при виде его. Марсель положил конец моим мучениям, передав мне записку, полученную им у дверей; она была от г-на де Т...

Он мне писал, что покуда Г... М... отправился к себе домой за деньгами, он пользуется его отсутствием, чтобы поделиться со мною весьма забавной идеей: ему представляется, что я не могу отмстить своему сопернику более приятным образом, чем съев его ужин и проведя ночь в той самой постели, в которую он надеялся улечься вместе с моей любовницей; сделать это кажется ему легко, если я заручусь помощью трех-четырех молодцов, достаточно решительных, чтобы задержать Г... М... на улице, и достаточно преданных, чтобы не выпускать его до утра; сам же он обещает занять его по меньшей мере на час разговорами, которые заготовил к его возвращению.

Я показал записку Манон и сообщил ей, к какой хитрости прибегнул, дабы свободно проникнуть к ней. Как моя выдумка, так и выдумка г-на де Т... привели ее в восторг. Несколько минут мы смеялись, не умолкая; но, заговорив с ней о последней затее как о шутке, я был поражен, что она всерьез стала настаивать на ее осуществлении. Напрасно я возражал, что нелегко так



К стр. 131



К стр. 167

сразу найти людей, способных задержать Г... М... и не выпускать его до утра; она сказала, что во всяком случае следует попытаться, раз г-н де Т... задержит его еще на целый час, а в ответ на прочие мои возражения заявила, что я тираню ее и не желаю ни в чем доставить ей удовольствие. План этот казался ей чрезвычайно привлекательным. «Вы займете его место за ужином,— твердила она;— вы ляжете спать под его одеялом, а завтра рано утром похитите у него любовницу вместе с деньгами. Вы хорошо отомстите и отцу и сыну».

Я уступил ее настояниям, несмотря на смутные предчувствия, словно пророчившие мне роковую катастрофу. Я вышел из дому, намереваясь попросить двух-трех гвардейцев, с которыми познакомил меня Леско, взять на себя заботу о задержании Г... М... Я застал дома только одного из них; но то был предприимчивый малый, который, не успев дослушать до конца, сразу поручился мне за успех; он только спросил с меня десять пистолей в оплату трех солдат-гвардейцев, которых решил привлечь к делу, став сам во главе отряда. Я просил его не терять времени. Он собрал их раньше, чем за четверть часа. Я дожидался у него в комнате и, как только он вернулся с товарищами, сам довел его до угла улицы, по которой Г... М... непременно должен был пройти, чтобы попасть к дому Манон. Я наказал ему обращаться с ним вежливо, но стеречь его до семи часов утра столь бдительно, чтобы я мог быть спокоен, что он не ускользнет. Он ответил мне, что отведет его к себе в комнату и заставит раздеться, а то даже и улечься в постель,

сам же он с тремя своими молодцами проведет ночь за выпивкой и игрою.

Я оставался с ними, покуда не увидел приближающегося Г... М..., и тогда отступил на несколько шагов в темноту, чтобы быть свидетелем столь необычайной сцены. Гвардеец двинулся на него с пистолетом в руке и вежливо объяснил, что не посягает ни на его жизнь, ни на деньги, если же он, не последовав за ним добровольно, окажет малейшее сопротивление или закричит, то он прострелит ему голову. Г... М..., увидев за ним еще троих солдат и несомненно опасаясь заряженного пистолета, не сопротивлялся. У меня на глазах его увели как барана.

Я немедленно возвратился к Манон; и, дабы не возбуждать никаких подозрений у слуг, сказал ей, входя, что г-на Г... М... можно не ждать к ужину, что он задержан неотложными делами и просил меня принести его извинения и отужинать с ней, а что касается меня, то провести вечер со столь прекрасною дамой почитаю я за великое счастье. Она отвечала весьма любезно, ловко способствуя выполнению нашего плана. Мы сели за стол, приняли чинный вид, покуда лакеи прислуживали нам. Наконец, отпустив их, провели один из самых очаровательных вечеров в нашей жизни. Украдкой я приказал Марселю нанять карету и велеть кучеру быть у подъезда в шестом часу утра. Около полуночи я сделал вид, что прощаюсь с Манон, но бесшумно вернулся при содействии Марселя и собирался занять постель Г... М..., подобно тому, как занял его место за столом.

Тем временем злая судьба готовила нам гибель. Мы предавались безумным наслаждениям, а меч повис над нашими головами. Нить, державшая его, готова была порваться. Однако, чтобы были понятны все обстоятельства ужасного крушения, следует пояснить его причину.

Г... М... шел в сопровождении лакея, когда был задержан гвардейцами. Этот малый, испуганный нежданным приключением, пустился наутек и, стремясь оказать помощь своему господину, немедленно предупредил старика Г... М... о происшедшем.

Столь неприятная новость не могла не встревожить его в сильнейшей степени. То был его единственный сын, сам же он для своих преклонных лет отличался крайней подвижностью. Прежде всего он потребовал от лакея отчета в том, что сын его делал после полудня: не ссорился ли он с кем-либо, не ввязался ли в чужую ссору; не побывал ли в каком-нибудь притоне. Лакей, считая молодого хозяина в крайней опасности и решив не пренебрегать никакими средствами для оказания ему помощи, рассказал все, что знал о его любви к Манон, о расходах, которых она ему стоила, о том, каким образом он провел время у себя дома часов до девяти вечера, об его уходе и злополучном возвращении. Этого было достаточно, чтобы старик заподозрил здесь какое-то любовное приключение. Хотя было уже не менее половины одиннадцатого, он, не колеблясь, тотчас же отправился к начальнику полиции. Он попросил его отдать особые приказания всем полицейским патрулям; а один из них предоставить

в его личное распоряжение, и вместе с полицейскими поспешил на ту улицу, где был задержан его сын. Он обегал все части города, где мог надеяться его отыскать и, не напав нигде на его след, направился в особняк его любовницы, решив, что за это время он мог туда возвратиться.

Я собирался лечь в постель, когда он явился. Дверь нашей спальни была затворена, и я не слышал стука с улицы; он вошел в сопровождении двух полицейских и, после тщетных расспросов о судьбе сына, захотел повидать его любовницу, чтобы узнать хоть что-нибудь от нее. Он поднялся по лестнице, неизменно сопутствуемый полицейскими. Мы были уже готовы лечь в постель; он отворяет дверь, и при виде его кровь леденеет у нас в жилах... «О, боже, это старик Г... М...»,— говорю я Манон. Я бросаюсь к оружию. К несчастью шпага запуталась в портупее. Видя мое движение, полицейские подбежали, чтобы схватить меня. Человек в сорочке беззащитен; они отняли у меня все средства сопротивления.

Г... М..., хотя и приведенный в замешательство этой сценой, не замедлил меня узнать. Еще легче было ему признать Манон. «Что это, обман зрения? — сурово обратился он к нам; — не вижу ли я перед собою кавалера де Грие и Манон Леско?» Я был в таком бешенстве от стыда и горя, что не отвечал ни слова. Разнообразные мысли и воспоминания, казалось, волновали его несколько минут, и, вдруг, словно они разом воспламенили его гнев, он вскричал, обращаясь ко мне:

«Негодяй, я уверен, что ты убил моего сына!» Обида задела меня за живое. «Старый мерзавец,— гордо ответил я ему,— ежели бы мне понадобилось убить кого-нибудь из твоей семьи, я бы начал с тебя».— «Держите его крепче,— крикнул он полицейским.— Пусть он расскажет, что случилось с моим сыном. Завтра же велю его повесить, если он не признается сию же минуту, что с ним сделал». «Ты велишь меня повесить? — воскликнул я.— Это тебе, подлец, место на виселице. Знай, что кровь моя благороднее и чище твоей. Да,— прибавил я,— мне известно, что приключилось с твоим сыном; и если ты не перестанешь меня раздражать, я велю его задушить прежде, чем наступит утро и тебе обещаю ту же участь после него».

Я поступил опрометчиво, признавшись, что знаю, где его сын; но гнев довел меня до исступления. Он тотчас же кликнул пять или шесть других полицейских, ждавших за дверью, и приказал не выпускать из дому никого из прислуги. «А, господин кавалер,— продолжал он насмешливо,— вы знаете, где мой сын, и велите его задушить, говорите вы? Будьте спокойны, мы примем меры». Тут я почувствовал, что совершил ошибку.

Он приблизился к Манон, которая сидела на постели вся в слезах; он сказал ей несколько иронических любезностей о ее победе над отцом и над сыном, и о том, как хорошо она умеет ею пользоваться. Старый развратник уже готов был повольничать с нею. «Посмей только прикоснуться к ней! — вскричал я,— никакие силы небес-

пые не спасут тебя от моей руки!» Он вышел, оставив в комнате трех полицейских и приказав последить за тем, чтобы мы поскорее оделись.

Не ведаю, каковы были его намерения относительно нас. Быть может, мы и получили бы свободу, если бы сообщили ему, где находится его сын. Одеваясь, я размышлял о том, не лучше ли поступить именно так. Но, если его намерение и было таково, когда он покидал комнату, оно резко изменилось, когда он возвратился. Он пошел допросить прислугу Манон, задержанную полицейскими. Он ничего не мог добиться от слуг, недавно нанятых его сыном; но, узнав, что Марсель служил у нас раньше, он угрозами заставил его говорить.

То был преданный малый, но простой и неотесанный. Воспоминание о том, как он помог Манон бежать из Приюта и страх, который внушал ему Г... М..., произвели такое впечатление на его слабый рассудок, что он вообразил, будто его тут же поведут вешать или колесовать. Он обещал открыть все, что ему известно, лишь бы пощадили его жизнь. Г... М... догадался, что наше дело гораздо серьезнее и преступнее, нежели он предполагал до сей поры. Он предложил Марселю не только сохранить ему жизнь, но и вознаградить за чистосердечное признание.

Несчастный рассказал ему часть нашего плана, о котором мы не стеснялись говорить в его присутствии, потому что он сам должен был принять в нем некоторое участие. Правда, он ровно ничего не знал о переменах, происшедших в Париже; но при отъезде из Шайо был осведомлен о дерзком

замысле и о роли, которую должен был в нем играть. Итак, он заявил Г... М..., что мы задумали одурачить его сына, что Манон должна была получить или уже получила десять тысяч ливров, которые, в случае нашего успеха, никогда бы не вернулись к наследникам рода Г... М...

После такого открытия взбешенный старик сейчас же устремился опять в нашу спальню. Не говоря ни слова, он прошел в кабинет, где без труда нашел всю сумму и драгоценности. С пылающим лицом он вернулся обратно и, показывая то, что ему угодно было именовать награбленным добром, осыпал нас оскорбительными упреками. Он поднес к самым глазам Манон жемчужное ожерелье и браслеты. «Узнаете вы их? — сказал он с насмешливой улыбкой.— Не в первый раз вам приходится их видеть. Они те же самые, честное слово. Неудивительно, что они пришлись вам по вкусу. Бедные детки,— прибавил он; — право, они оба очаровательны; только вот плутоваты немножко».

Сердце мое разрывалось от бешенства при его оскорбительных речах. За один миг свободы я бы дал... Праведное небо, чего бы только я ни дал? Наконец, сделав над собой усилие, я сказал со сдержанностью, являющейся лишь утонченной формой ярости: «Покончим, сударь, с дерзкими насмешками. О чем идет речь? Что намереваетесь вы сделать с нами?» — «Речь идет о том, господин кавалер,— отвечал он,— что вы немедленно отправитесь в Шатле [55]. Завтра, при дневном свете, мы разберемся лучше в этом деле,

и надеюсь, вы сделаете милость, и наконец сообщите, где мой сын».

Я постиг без труда, что заточение в Шатле грозит нам ужасными последствиями. Я с трепетом предвидел все опасности. При всей своей гордости я понял, что следовало смириться перед судьбой и польстить злейшему нашему врагу, дабы хоть чего-нибудь добиться от него покорностью. Я вежливо попросил его выслушать меня. «Не оправдываю себя, сударь,— сказал я.— Признаю, что по молодости лет я совершил великие ошибки, и вы достаточно пострадали, чтобы чувствовать себя оскорбленным; но если вам ведома сила любви, если вы в состоянии судить о том, что̀ испытывает несчастный юноша, у которого похищают все, что̀ привязывает его к жизни, вы, быть может, извините мою попытку отомстить вашему сыну безобидной проделкой или, по меньшей мере, сочтете меня достаточно наказанным моим позором. Нет надобности ни в тюрьме, ни в пытках, чтобы принудить меня открыть, где ваш сын. Он в безопасности. Я не имел намерения ни повредить ему, ни нанести вам оскорбление. Я готов назвать вам место, где он спокойно проводит ночь, если вы окажете нам милость и отпустите нас обоих на свободу».

Старый тигр, ничуть не тронутый моими мольбами, со смехом повернулся ко мне спиной. Он процедил сквозь зубы, что наши намерения были ему известны с самого начала. Что же касается сына, грубо прибавил он, то раз я его не убил, рано или поздно он и сам отыщется. «Отвезите их в Малый Шатле,— сказал он полицейским,—

и смотрите хорошенько, как бы кавалер не удрал по дороге; он хитер и уже раз сбежал из Сен-Лазара».

Он вышел, оставив меня, можете себе представить, в каком состоянии. «О, небо,— воскликнул я,— приму с покорностью все твои удары; но то, что презренный негодяй имеет власть так деспотически распоряжаться мною, приводит меня в крайнее отчаяние». Полицейские торопили нас. У подъезда уже ждала карета. Спускаясь по лестнице, я подал Манон руку. «Пойдем, дорогая моя королева,— сказал я ей,— пойдем и покоримся суровой участи нашей. Быть может, небесам благоугодно будет даровать нам дни более счастливые».

Мы уехали в одной карете. Она приникла ко мне, я ее обнял. Она не проронила ни слова с момента появления Г... М..., но, оставшись наедине со мною, она принялась утешать меня нежными словами, все время укоряя себя в том, что послужила причиною моего несчастия. Я уверял ее, что никогда не буду сетовать на свой жребий, пока она не перестанет любить меня. «Меня нечего жалеть,— продолжал я;— несколько месяцев тюрьмы совсем не страшат меня, и я всегда предпочту Шатле Сен-Лазару. Но о тебе, любимая, скорбит мое сердце. Как печальна участь столь прелестного создания! О небеса, как можете вы обращаться так сурово с самым совершенным из творений своих? Почему не наделены мы от рождения свойствами, соответствующими нашей злой доле? Мы одарены умом, вкусом, чувствительностью; увы, сколь печальное примене-

ние мы им находим, в то время как столько душ, низких и подлых, наслаждаются всеми милостями судьбы!»

Размышления эти преисполнили меня скорби. Но все было ничто по сравнению с думами о грядущем: ибо я изнывал от страха за Манон. Она уже побывала в Приюте, и, хотя благополучно выбралась оттуда, я знал, что повторное заключение чревато самыми опасными последствиями. Я хотел бы поделиться с Манон своей тревогой, но боялся слишком ее напугать. Я дрожал за нее, не смея предупредить об опасности, и обнимал бедняжку, вздыхая и уверяя в своей любви, единственном чувстве, которое я смел выразить. «Манон,—говорил я,— скажите искренно, всегда ли будете вы любить меня?» Она отвечала, что ее крайне огорчают мои сомнения. «Ну вот, я больше не сомневаюсь,— сказал я,— и с этой уверенностью не страшусь никаких врагов. Я прибегну к содействию своей семьи, я непременно выйду из Шатле и отдам всю кровь, посвящу все силы, чтобы вырвать вас оттуда, лишь только окажусь на свободе».

Мы подъехали к тюрьме. Нас поместили каждого в отдельной камере. Удар этот поразил меня не так сильно, ибо я предвидел его. Я препоручил Манон привратнику, сообщив ему, что я человек с положением, и посулив значительное вознаграждение. Я обнял дорогую мою возлюбленную, прежде чем расстаться с нею. Я заклинал ее не горевать чрезмерно и не страшиться ничего, покуда я жив. Деньги у меня были. Часть их я отдал ей, а из оставшихся щедро за-

платил привратнику вперед за месячное содержание[56] ее и мое.

Деньги возымели отличное действие. Меня поместили в опрятную комнату и уверили, что Манон получила такую же. Я немедленно стал обдумывать, каким путем добиться скорейшего освобождения. Было ясно, что ничего особенно преступного не заключалось в моем деле; предполагая даже, что показанием Марселя был установлен наш замысел совершить кражу, я прекрасно знал, что одни намерения сами по себе не подлежат наказанию. Я решил спешно написать отцу, прося его лично приехать в Париж. Я гораздо менее стыдился, как уже сказал, заключения в Шатле, чем в Сен-Лазаре. С другой стороны, хотя я и сохранял должное уважение к родительскому авторитету, годы и опыт весьма уменьшили мою робость. Итак, я сочинил письмо, а к отправке его из Шатле не встретил никаких препятствий. Но я мог бы избавить себя от труда, если бы знал, что отец должен прибыть в Париж на следующий день.

Получив первое мое письмо, написанное неделю назад, он был им крайне обрадован. Но, как ни польстил я ему надеждой на мое исправление, он не счел возможным удовольствоваться одними обещаниями. Он решил воочию убедиться в происшедшей со мною перемене и поступить так или иначе, в зависимости от искренности моего раскаяния. Он прибыл на следующий день после нашего заключения в тюрьму.

Первым делом он направился к Тибержу, которому я просил его адресовать свой ответ.

От него он не мог получить сведений ни о местожительстве, ни о положении моем в настоящее время. Он услышал от него только о моих приключениях после бегства из семинарии Сен-Сюльпис. Тиберж с большой похвалой отозвался о благих моих намерениях, обнаружившихся при последнем нашем свидании. Он прибавил, что я, по его мнению, совсем порвал с Манон, но что его все-таки удивляет отсутствие от меня известий в течение целой недели. Отец не был так доверчив. Он понял, что за моим молчанием, на которое жаловался Тиберж, скрывается нечто, ускользающее от его проницательности, и с таким усердием стал искать мои следы, что через два дня по приезде узнал о моем заточении в Шатле.

До его прихода, ожидать которого я никак не мог так рано, меня посетил начальник полиции, то есть, попросту говоря, я подвергся допросу. Он бросил мне несколько упреков, правда, не содержавших для меня ничего грубого и обидного. Он мягко сказал мне, что сожалеет о дурном моем поведении; что я поступил неосторожно, приобретя себе врага в лице г-на де Г... М..., что, поистине, в деле моем сказывается больше опрометчивости и легкомыслия, нежели злого умысла; но что я как-никак уже вторично попадаю на скамью подсудимых, хотя можно было надеяться, что два-три месяца, проведенных в Сен-Лазаре, образумят меня.

Довольный тем, что имею дело с судьей рассудительным, я говорил с ним столь почтительно и сдержанно, что он, казалось, был чрезвы-

чайно доволен моими ответами. Он посоветовал мне не слишком сокрушаться и сказал, что хотел бы оказать мне услугу из уважения к моему происхождению и молодости. Я отважился поручить Манон его вниманию, с похвалой отозвавшись об ее кротости и благонравии. Он ответил, посмеиваясь, что покуда еще не видал ее, но что ему говорили о ней, как об особе весьма опасной. Слова его пробудили во мне столь великую к ней нежность, что я произнес страстную речь в защиту бедной моей возлюбленной и даже не мог сдержать слезы. Он приказал отвести меня обратно в камеру. «Любовь, любовь,— воскликнул мне вслед сей степенный судья,— неужели ты никогда не уживешься с благоразумием?»

Я предавался грустным думам, размышляя о беседе с начальником полиции, когда услышал, как отворяется дверь в мою камеру: то был отец. Хотя я должен был бы подготовиться к этой встрече, ибо ожидал ее несколькими днями позже, но был настолько ею потрясен, что провалился бы сквозь землю, если бы она разверзлась у меня под ногами. В крайнем смущении я обнял его. Молча он сел; молча я стоял перед ним, потупившись и с непокрытой головой.

«Садитесь, сударь мой, садитесь,— сказал он мне сурово.— Благодаря огласке, вызванной вашим распутством и мошенническими проделками, я узнал, где могу вас найти. Преимущество вашего достойного поведения состоит в том, что оно не может оставаться тайным. Прямой дорогой вы идете к славе. Надеюсь, близок конец вашего пути к Гревской площади [57] и вас ждет завидный

жребий быть выставленным напоказ всему народу».

Я ничего не отвечал. Он продолжал: «О, сколь несчастен отец, нежно любивший сына, ничего не щадивший для достойного его воспитания и видящий, в конце концов, перед собою плута, который бесчестит его! Можно утешиться в ударах злой судьбы: время стирает их, и горе смягчается; но где лекарство против тех бедствий, кои усугубляются изо дня в день, против распутства сына порочного, утратившего всякое чувство чести? Ты безмолвствуешь, несчастный,— прибавил он.— Взгляните на притворную сию скромность, на лицемерную сию кротость: можно подумать, что видишь пред собой достойнейшего представителя нашего рода!»

Хотя я должен был признать, что заслужил значительную долю оскорбительных укоров, мне показались они все же чрезмерными. Я позволил себе в простых словах изложить свою мысль:

«Смею уверить вас, государь мой,— сказал я,— что скромность моя ничуть не притворна: она естественна для человека хорошей семьи, питающего безграничное уважение к отцу своему, особливо же к отцу разгневанному. Не притязаю выдавать себя за достойнейшего представителя нашего рода. Признаю, что заслужил упреки ваши; но заклинаю вас, не будьте столь суровы и не смотрите на меня, как на самого отъявленного негодяя. Я не заслужил столь жестокого приговора. Любовь — причина всех моих заблуждений, вы это знаете. Роковая страсть! Увы! неужели не ведома вам вся сила ее, и может

ли статься, чтобы кровь ваша, которая течет и в моих жилах, никогда не пламенела тем же чувством? Любовь сделала меня слишком нежным, слишком страстным, слишком преданным и, быть может, слишком угодливым к желаниям обворожительной возлюбленной; таковы мои преступления. Позорит ли вас хоть единое из них? Милый батюшка,— прибавил я нежно,— пожалейте хоть немного сына, который к вам всегда был полон уважения и любви; который не отрекся, как мнится вам, ни от чести, ни от долга и который заслуживает в тысячу раз большего сострадания, нежели можете вы себе представить». Заканчивая свою речь, я прослезился.

Отчее сердце есть совершеннейшее создание природы: она властвует над ним, так сказать, как благая царица, и управляет всеми его порывами. Отец мой, бывший, кроме сего, человеком умным и тонким, столь был растроган оборотом, который придал я своим оправданиям, что не в силах был скрыть от меня перемену в своем настроении. «Приди, мой бедный кавалер,— сказал он; — приди в мои объятия: мне жаль тебя». Я обнял его, а по его объятию мог судить о том, что́ происходит в его сердце. «Что же предпринять для твоего освобождения? — опять заговорил он.— Поведай мне обо всех делах твоих без утайки».

В виду того, что в поступках моих, в конце концов, не заключалось ничего слишком позорящего меня, хотя бы по сравнению с поведением известного рода светской молодежи, и так как в наше время не почитается постыдным иметь

любовницу, равно как и прибегать к некоторой ловкости рук в игре, я чистосердечно рассказал отцу все подробности жизни моей. Признание в каждом проступке я старался сопровождать примерами из жизни людей знаменитых, дабы ослабить тем свою вину.

«Я живу с любовницей,— говорил я,— не будучи обвенчан с нею: герцог такой-то содержит двух на глазах всего Парижа; господин такой-то целых десять лет имеет любовницу, которой верен более, нежели жене. Две трети знатных людей Франции за честь почитают иметь любовниц. Я плутовал в игре: маркиз такой-то и граф такой-то не имеют иных источников дохода; князь такой-то и герцог такой-то стоят во главе шайки рыцарей того же ордена». Что касается посягательств моих на кошельки обоих Г... М..., то я мог бы доказать, что и в этом у меня были предшественники [58], но честь не позволила мне опорочить вместе с собою всех тех лиц, которых я мог бы привести в пример, а потому я умолял отца простить мне эту слабость, объяснив ее двумя неукротимыми страстями, овладевшими мною: жаждой мести и любовью.

Он просил меня указать, как скорейшим путем добиться моего освобождения, притом так, чтобы избежать огласки. Я сообщил ему о добром отношении ко мне начальника полиции. «Ежели вы встретите какие-либо препятствия,— сказал я,— они не могут идти ни от кого, кроме двоих Г... М...; посему, полагаю, вам следовало бы повидаться с ними». Он обещал мне это.



К стр. 192



К стр. 213

Я не решился просить его походатайствовать за Манон. Причиною этого не был недостаток смелости, но боязнь возмутить его такою просьбой и поселить в его душе какие-либо гибельные для нее и меня намерения. Я до сих пор не ведаю, не принесла ли мне эта боязнь величайших несчастий, помешав мне расположить отца в ее пользу и внушить ему благоприятное мнение о несчастной моей любовнице. Быть может, и на этот раз я возбудил бы его сострадание. Я бы предостерег его не доверять тому впечатлению от старого Г... М..., которому он слишком легко поддался. Кто знает? Злая судьба, быть может, в корне пресекла бы все мои попытки; но я, по крайней мере, обвинял бы в своем несчастии только судьбу и жестокость врагов моих.

Расставшись со мною, отец направился к г-ну де Г... М... Он застал у него также его сына, которого мой гвардеец честно отпустил на свободу. Я так и не узнал подробностей их беседы; но мне не трудно было судить о ней по роковым ее последствиям. Они пошли вместе, оба отца, к начальнику полиции, у которого просили двух милостей: во-первых, выпустить меня немедленно из Шатле; во-вторых, заточить Манон пожизненно в тюрьму, или же выслать в Америку. Как раз в то время стали во множестве отправлять разных бродяг на Миссисипи. Начальник полиции дал слово отправить Манон с первым же кораблем.

Г-н де Г... М... и отец мой явились тотчас же ко мне с известием о моей свободе. Г-н де Г... М... принес мне вежливые извинения за прошлое и,

поздравив меня с таким превосходным отцом, убеждал впредь пользоваться его советами и примером. Отец приказал мне извиниться перед Г... М... в мнимом оскорблении, нанесенном мною его семье, и поблагодарить за содействие моему освобождению.

Мы вышли все вместе, ни словом не упомянув о моей возлюбленной. В их присутствии я не посмел даже замолвить о ней слово привратникам. Увы, моя просьба была бы все равно бесполезна. Роковой приказ прибыл одновременно с приказом о моем освобождении. Спустя час бедная девушка была переведена в Приют и присоединена к другим несчастным, осужденным на ту же участь.

Принужденный последовать за отцом на его квартиру, я лишь в исходе шестого часа улучил мгновение ускользнуть с его глаз, чтобы поспешить обратно в Шатле. Я имел одно только намерение — передать немного продовольствия для Манон и поручить ее заботам привратника, ибо не обольщал себя надеждою, что мне позволят повидаться с нею. Равным образом у меня не было еще времени подумать об ее освобождении.

Я вызвал привратника. Он не забыл моей щедрости и доброты и, желая хоть чем-нибудь услужить мне, заговорил об участи Манон, как о несчастии весьма прискорбном, ибо это не может не удручать меня. Я не мог взять в толк, о чем он ведет речь. Несколько времени мы беседовали, не понимая друг друга. Наконец, убедившись, что я ничего не знаю, он поведал мне то, о чем

я уже имел честь вам рассказать и что́ повторять для меня слишком мучительно.

Никакой апоплексический удар не произвел бы более внезапного и ужасного действия. Сердце мое болезненно сжалось, и, падая без чувств, я подумал, что навсегда расстаюсь с жизнью. Ясное сознание не сразу вернулось ко мне; когда я пришел в себя, я оглядел комнату, оглядел себя, чтобы удостовериться, ношу ли я еще печальное звание живого человека. Достоверно то, что, следуя лишь естественному стремлению освободиться от страданий, я ни о чем не мог мечтать, кроме как о смерти, в этот миг отчаяния и ужаса. Даже страшные картины загробных мук не казались мне более ужасными, чем жестокие судороги, терзавшие меня. Меж тем, благодаря чудесному воздействию любви я скоро нашел в себе силы возблагодарить небеса за возвращение мне сознания и разума. Моя смерть была бы избавлением лишь для меня одного. Манон нуждалась в моей жизни, чтобы я мог освободить ее, помочь ей, отомстить за нее. Я поклялся отдать ей все свои силы без остатка.

Привратник оказал мне помощь с таким участием, какого мог бы я ожидать разве от самого лучшего друга. С горячей благодарностью принял я его услуги. «Увы,— сказал я ему,— вы тронуты моими страданиями. Все отвернулись от меня. Даже отец мой — один из самых безжалостных моих гонителей. Ни у кого нет сострадания ко мне. Вы, один только вы, в этой обители жестокости и варварства проявляете сочувствие к несчастнейшему из людей». Он мне советовал не по-

казываться на улице, не оправившись от моего смятенного состояния. «Ничего, ничего,— ответил я уходя; — мы увидимся снова, раньше, чем вы думаете. Приготовьте мне самую мрачную из ваших камер; я постараюсь ее заслужить».

Действительно, ближайшие мои намерения состояли в том, чтобы расправиться с обоими Г... М... и начальником полиции и вслед затем броситься приступом на Приют, увлекши всех, кого только смогу, за собою. Даже отца я готов был не щадить в своей справедливой жажде мщения, ибо привратник не утаил от меня, что они с Г... М... виновники моей утраты...

Но, когда я сделал несколько шагов на улице и воздух немного охладил мою кровь и успокоил меня, ярость моя уступила место чувствам более рассудительным. Смерть наших врагов оказала бы плохую услугу Манон и, вероятно, отняла бы у меня всякую возможность ей помочь. С другой стороны мог ли я прибегнуть к подлому убийству? А какой иной путь мести открывался предо мною? Я собрался с силами и духом, решив прежде всего постараться освободить Манон, а уж после успеха этого важного предприятия заняться остальным.

Денег у меня оставалось немного. И все-таки то была необходимая основа, и с нее следовало начинать. Я знал только трех лиц, от которых мог ожидать денежной помощи: г-на де Т..., моего отца и Тибержа. Мало было вероятия получить что-либо от двух последних, а первому мне было совестно докучать своей назойливостью. Но в отчаянии не останавливаешься ни перед чем. Я сра-

зу же направился в семинарию Сен-Сюльпис не беспокоясь о том, что меня могут узнать. Я вызвал Тибержа. С первых же его слов я понял, что мои последние приключения ему неизвестны. Поэтому я тут же изменил решение подействовать на его чувство сострадания. Я заговорил с ним о радости моей встречи с отцом и затем попросил одолжить мне небольшую сумму денег, чтобы до отъезда из Парижа расплатиться с долгами, утаив их от отца. Он тотчас же предоставил мне свой кошелек. Я взял пятьсот франков из шестисот, находившихся в нем и предложил дать расписку; но Тиберж был слишком благороден, чтобы принять ее.

Оттуда я направился к г-ну де Т... С ним я был откровенен. Я рассказал ему о всех своих бедах и страданиях; он уже знал о них вплоть до малейших подробностей, так как следил за приключениями молодого Г... М... Тем не менее он выслушал меня с участием. Когда же я попросил его совета относительно освобождения Манон, он грустно мне ответил, что дело представляется ему столь трудным, что следует отказаться от всякой надежды, ежели не уповать на чудесную помощь божию; что он нарочно побывал в Приюте, когда Манон была заключена туда; что даже ему отказано было в свидании с ней; что распоряжения, отданные начальником полиции, отличаются крайней строгостью, и, в довершение всех неудач, партия арестантов, к которой она приписана, назначена к отправке на послезавтра.

Я был столь подавлен его речью, что, говори он целый час, я бы и не подумал его прервать.

Он продолжал рассказывать, что не павестил меня в Шатле, рассчитывая, что если он утаит нашу дружбу, ему будет легче оказать мне помощь; что, узнав спустя несколько часов о моем освобождении, он говорил, что не может повидаться со мною и поскорее подать мне единственный совет, от которого я мог бы ожидать перемены в судьбе Манон; но совет столь опасный, что он просит меня сохраиить в тайне его участие в нем. План состоял в том, чтобы подобрать несколько смельчаков и напасть на стражу Манон при выезде из Парижа. Он не стал дожидаться моего признания в нищете: «Вот сто пистолей,— сказал он мне, протягивая кошелек,— они могут вам пригодиться. Вы отдадите мне их, когда дела ваши устроятся». Он прибавил, что, ежели бы забота о своей репутации не мешала ему самому предпринять освобождение моей любовницы, он предоставил бы в мое распоряжение свою руку и шпагу.

Редкостное его великодушие троиуло меня до слез. Я выразил ему признательность так горячо, как только мог в удрученном своем состоянии. Я спросил его, нет лн надежды воздействовать через кого-нибудь на начальника полиции. Он сказал, что думал об этом, но полагает такой путь бесплодным, нбо подобного рода просительство должно быть обосновано, а ему совершенно неясно, посредством каких доводов можно заручиться поддержкой какого-пибудь важного и могущественного лица; надеяться здесь можно было бы только в том случае, если бы удалось переубедить г-на де Г.. М. . и моего отца

и побудить их самих ходатайствовать перед начальником полиции об отмене приговора. Он обещал приложить все усилия, чтобы привлечь на нашу сторону молодого Г... М..., который, впрочем, как будто охладел к нему, подозревая причастность его к нашему делу; меня же он убеждал постараться, во что бы то ни стало, смягчить сердце моего отца.

Для меня это было вовсе не такое легкое дело; я разумею не только трудность убедить его, но еще одно обстоятельство, из-за которого я боялся даже подступиться к нему; я ускользнул из его квартиры, нарушив его распоряжения, и твердо решил не возвращаться туда, после того, как узнал о горестной участи Манон. У меня были основания опасаться, как бы он не задержал меня насильно и не отослал в провинцию. Мой старший брат однажды уже применил такой способ действия. Правда, что я повзрослел за это время; но возраст — слабый аргумент против силы. Между тем я нашел путь более безопасный: вызвать отца в какое-нибудь общественное место, написав ему от чужого имени. Я тотчас же остановился на этом решении. Г-н де Т... пошел к Г... М..., а я — в Люксембургский сад, откуда послал сказать отцу, что некий дворянин почтительнейше дожидается его. Я боялся, что он не захочет себя тревожить в виду приближения ночи. Однако немного спустя он показался в сопровождении лакея. Я попросил его углубиться в аллею, где мы могли бы не опасаться посторонних. Шагов сто мы прошли, не говоря ни слова. Конечно, для него было ясно, что за всеми этими

предуготовлениями должно скрываться что-нибудь немаловажное. Он ждал моей речи, я ее обдумывал.

Наконец, я решился начать. «Батюшка,— сказал я дрожащим голосом,— вы так добры ко мне. Вы осыпали меня милостями и простили мне неисчислимые мои проступки. Посему призываю небо в свидетели, что питаю к вам все чувства, свойственные сыну самому нежному и самому почтительному. Но смею думать ... ваша строгость...» — «Ну, хорошо! Так что же моя строгость?» — перебил он меня, полагая, конечно, что я злоупотребляю его терпением, растягивая речь.— «Ах, батюшка,— продолжал я,— смею думать, что ваша строгость чрезмерна по отношению к несчастной Манон. Вы расспрашивали о ней у г-на де Г... М... Из ненависти он изобразил вам ее в самых черных красках. У вас, вероятно, сложилось о ней ужасное представление. А между тем она — самое нежное, самое милое создание на свете. Почему небу не угодно было внушить вам желание увидеть ее хоть на минуту! Я столь же уверен в том, что она прелестна, сколь уверен, что и вы найдете ее такою. Вы бы приняли в ней участие, отвергли бы с презрением все черные козни Г... М...; вы прониклись бы состраданием к ней и ко мне. Увы, я уверен в этом. Ваше сердце не лишено чувствительности: вы не могли бы не растрогаться».

Он опять прервал меня, видя, что в своем увлечении я еще не скоро кончу. Он пожелал узнать, какова цель этой страстной речи. «Прошу сохранить мне жизнь,— отвечал я,— ибо я

расстанусь с жизнью, лишь только Манон увезут в Америку».— «Нет, нет,— возразил он сурово;— я предпочитаю видеть тебя мертвым, нежели безумным и бесчестным».— «Так покончим на этом,— воскликнул я, удерживая его за руку;— возьмите же ее у меня, возьмите мою жизнь, ненавистную и нестерпимую; ибо вы повергаете меня в такое отчаяние, что смерть — благодеяние для меня: дар, достойный отчей руки».

«Дарую тебе то, чего ты заслуживаешь,— отвечал он.— Другие отцы не стали бы ждать столь долго, чтобы собственноручно казнить тебя; моя чрезмерная доброта тебя погубила».

Я бросился к его ногам. «О, если у вас есть хоть остаток доброго чувства,— говорил я, обнимая его колени,— не ожесточайтесь на мои слезы. Подумайте о том, что я ваш сын... увы, вспомните о моей матери. Вы любили ее так нежно! Разве вы перенесли бы, чтобы ее вырвали из ваших объятий? Вы защищали бы ее до последней капли крови. И разве мое сердце не может быть подобно вашему? Мыслимо ли быть столь немилосердным, испытав хоть раз настоящую нежность и тоску?»

«Не смей говорить о твоей матери,— раздраженно вскричал он;— воспоминание о ней распаляет мое негодование. Твое распутство довело бы ее до могилы, будь она еще жива. Прекратим разговор,— прибавил он; — он досаждает мне и не заставит меня изменить решение. Я возвращаюсь домой и приказываю тебе следовать за мною».

Сухой, жесткий тон, его приказания ясно убедил меня в том, что сердце его непреклонно. Я отступил на несколько шагов, боясь, как бы не попытался он собственноручно задержать меня. «Не усугубляйте моего отчаяния, понуждая меня к неповиновению,— сказал я.— Мне невозможно следовать за вами. И так же невозможно жить после жестокости, вами проявленной. Итак, прощаюсь с вами навеки. Смерть моя, о которой вы скоро услышите,— прибавил я печально,— быть может пробудит в вас снова чувства отеческие».— «Так ты отказываешься следовать за мною? — гневно вскричал он, видя, что я собираюсь уходить.— Иди, беги к своей гибели! Прощай, неблагодарный и мятежный сын!» — «Прощайте,— отвечал я в исступлении,— прощайте, жестокий и бесчеловечный отец!»

Я сейчас же вышел из Люксембургского сада. Я как безумный метался по улицам, пока не дошел до дома г-на де Т... Идя, я простирал руки и воздевал глаза, взывая к силам небесным. «О, небеса,— говорил я,— неужели вы будете столь же немилосердны, как люди? Мне не от кого ждать помощи, кроме вас».

Г-на де Т... еще не было дома; но он вернулся спустя несколько минут. Его переговоры имели не больше успеха. Он с огорчением рассказал мне об этом. Молодой Г... М..., хотя и менее отца был озлоблен против Манон и меня, отказался похлопотать в нашу пользу. Он остерегался, сам боясь мстительного старика, который и так был раздражен, ибо не прощал ему намерения вступить в связь с Манон.

Мне оставался только один путь насильственного вмешательства, план, предложенный г-ном де Т...; на него возлагал я все мои надежды. «Они весьма сомнительны,— сказал я ему,— но самая твердая и самая утешительная для меня надежда — погибнуть во время нападения». Я распрощался с ним, прося его пожелать мне успеха, и стал думать о том, как бы найти товарищей, которым я мог бы передать хоть искру своего пыла и решимости.

Первый, о ком я вспомнил, был тот самый гвардеец, которого подговорил я задержать Г... М... Кстати я имел в виду провести ночь у него в комнате, потому что за день не имел досуга подыскать себе пристанище. Я застал его одного. Он выразил радость, что видит меня на свободе. Он с полной готовностью предложил мне свои услуги. Я объяснил, какой помощи жду от него. У него было достаточно здравого смысла, чтобы понять все трудности предприятия; но он был и достаточно великодушен, чтобы не побояться их.

Часть ночи мы провели, обсуждая план действий. Он указал мне на троих солдат-гвардейцев, которые помогали ему в последний раз, как на испытанных храбрецов. Г-н де Т... дал мне точные сведения относительно числа стражников, которые должны были сопровождать Манон: их было всего лишь шесть человек. Пятерых смелых и решительных людей хватило бы, чтобы нагнать страха на этих негодяев; вряд ли они станут защищаться, раз могут избежать опасностей боя трусливым бегством.

Видя, что я не стеснен деньгами, гвардеец посоветовал мне ничем не скупиться ради успеха нашего нападения. «Нам надобны лошади, пистолеты и каждому из наших по мушкету,— сказал он.— Беру на себя заботу о завтрашних приготовлениях. Нужно раздобыть также три пары штатского платья для наших солдат, которые не посмеют показаться в подобном деле в мундирах своего полка». Я вручил ему сто пистолей, полученных от г-на де Т... Они были израсходованы на другой день до последнего гроша. Я сделал смотр своим трем солдатам, воодушевил их щедрыми посулами и, чтобы рассеять у них всякое недоверие, первым делом подарил каждому по десяти пистолей.

Роковой день наступил. Ранним утром я отрядил одного из солдат к воротам Приюта, дабы знать наверное, когда стражники выедут со своей добычей. Хотя я принял эту меру предосторожности по чрезмерной мнительности и беспокойству, она оказалась отнюдь не излишней. Я положился на некоторые лживые сведения, данные мне относительно маршрута, и, будучи убежден, что несчастных должны погрузить на корабль в Ларошели [59], я бы зря прождал их на Орлеанской дороге. Между тем из донесения солдата-гвардейца я узнал, что их повезут по дороге в Нормандию и отправят в Америку из Гавра.

Мы немедленно выехали к воротам Сент-Оноре, держась каждый разных улиц. В конце городского предместья мы съехались вместе. Лошади наши шли резво. Мы вскоре завидели впереди шесть

стражников и две жалких повозки, те самые, что вы видели два года тому назад в Пасси. Зрелище это едва не лишило меня сил и сознания. «О, судьба,— воскликнул я,— жестокая судьба, ниспошли мне хотя бы теперь смерть или победу!»

Мы наскоро посовещались о плане атаки. Стражники были не более, как в четырехстах шагах впереди нас, и мы могли бы перерезать им путь, проскакав поперек небольшого поля, которое огибала проезжая дорога. Гвардеец держался именно такого мнения, рассчитывая обрушиться на них сразу и захватить врасплох. Я одобрил его мысль и первый дал шпоры коню. Но судьба отвергла безжалостно мои мольбы.

Стражники, завидев пятерых всадников, скачущих на направлению к ним, ни на минуту не усомнились, что целью сего было нападение. Они приготовились к решительной обороне, взявшись за ружья и штыки.

Но то, что лишь придало воодушевления гвардейцу и мне, разом лишило присутствия духа трех наших подлых товарищей. Они остановили лошадей, точно сговорившись, обменялись несколькими словами, которых я не расслышал, повернули назад и пустились во весь опор по парижской дороге.

«Боже,— воскликнул гвардеец, растерявшись не менее моего при виде их трусливого бегства,— что же нам делать? Нас только двое». От ярости и изумления я лишился голоса. Я придержал коня: мне захотелось первым делом обратить свою месть на преследование и наказать негодяев, предавших меня. Я глядел на беглецов, а с другой стороны

посматривал на стражников. Если б я мог раздвоиться, я бы обрушился одновременно на тех и других; я с бешенством пожирал их глазами.

Гвардеец, догадавшийся по блуждающему взгляду о моей неуверенности, попросил меня внять его совету. «Нам вдвоем безрассудно атаковать шестерых стражников, не хуже нас вооруженных и явно готовых дать нам отпор,— сказал он.— Надо вернуться в Париж и постараться набрать товарищей похрабрее. Конвоиры не смогут делать длинные переходы с двумя тяжелыми повозками; завтра нам не трудно будет их нагнать».

С минуту я размышлял над этим предложением; но, видя крушение всех своих надежд, я принял поистине отчаянное решение: оно состояло в том, чтобы, отблагодарив верного товарища за его помощь и отбросив всякую мысль об атаке, обратиться к стражникам со смиренною просьбой принять меня в их отряд; я решил сопровождать Манон до Гавра и вместе с нею уплыть за океан. «Весь мир преследует или предает меня,— сказал я гвардейцу; — я не могу больше ни на кого положиться; не жду больше ничего от судьбы, ни от людской помощи. Мои несчастия дошли до предела; мне остается только им покориться. Я потерял всякую надежду. Да вознаградит небо ваше великодушие! Прощайте. Иду добровольно навстречу злой моей участи». Бесполезны были его усилия убедить меня вернуться в Париж. Я просил его предоставить мне следовать моему решению и немедля покинуть меня, ибо я боялся,

как бы стражники не подумали, что мы намереваемся их атаковать.

Я в одиночестве, медленным шагом направился к ним с видом столь удрученным, что они не могли опасаться меня. Тем не менее они сохраняли оборонительное положение. «Успокойтесь, господа,— обратился я к ним, подъезжая;— я не намерен нападать на вас: молю у вас только о милости». Я просил их спокойно продолжать свой путь и по дороге сообщил, какого одолжения жду от них.

Они посовещались между собой, как отнестись к такому предложению, и начальник их обратился ко мне от лица всего отряда. Он сказал, что им дано приказание как можно строже наблюдать за узницами; впрочем, я так приглянулся ему, что он с товарищами готов немного отступить от своих обязанностей; но я, конечно, понимаю, что дело связано с некоторыми расходами. У меня оставалось около пятнадцати пистолей; я не скрыл от них, какова моя денежная наличность. «Ладно,— сказал на это стражник,— мы не станем вымогать с вас лишнего. Вам это обойдется по экю за каждый час беседы с любой из наших девиц по вашему выбору: такова парижская такса».

Я не говорил с ними особо о Манон, потому что в мои намерения не входило, чтобы они узнали о моей страсти. Они воображали сначала, что это только причуда молодости — искать развлечения в обществе подобных созданий; но лишь только они заподозрили мою любовь, как взвинтили цену до таких пределов, что кошелек мой был опусто-

шен уже при выезде из Манта, где ночевали мы перед Пасси.

Стоит ли говорить о горестных беседах моих с Манон во время нашего пути, о впечатлении, какое произвел на меня ее вид, когда я получил разрешение приблизиться к ее повозке? Ах, слова способны передать лишь малую долю чувств сердечных! Но вообразите себе бедную мою возлюбленную, прикованную цепями вокруг пояса, сидящею на соломенной подстилке, в томлении прислонившись головою к стенке повозки, с лицом бледным и омоченным слезами, которые ручьями струились из-под ресниц, хотя глаза ее неизменно были закрыты. Она не проявила даже любопытства и не открыла их, услышав тревожный шум приготовлений к обороне. Белье ее было в грязи и беспорядке; прелестные руки обветрены; словом, весь ее облик, вся ее фигура, которая могла поработить весь мир, являла вид неописуемого расстройства и изнурения.

Несколько времени я ехал верхом рядом с повозкой, созерцая ее. Я настолько не владел собой, что несколько раз чуть не свалился с лошади. Мои вздохи, мои стоны привлекли ее внимание. Она меня узнала; я видел, как она рванулась ко мне из повозки, но оковы удержали ее, и она упала назад.

Я молил стражников хоть на минуту остановиться из сострадания; они согласились из жадности. Я спрыгнул с седла и подсел к ней. Она была в таком изнеможении, так слаба, что долго не могла ни говорить, ни двигаться. Я орошал слезами ее руки, и, так как сам не мог произнести

ни слова, мы оба находились в невыразимо печальном состоянии. Не менее печальны были наши слова, когда к нам вернулась способность речи. Манон говорила мало; казалось, стыд и горе исказили ее голос; звук его стал слабым и дрожащим.

Она благодарила меня за то, что я не забыл ее и доставил ей,— прибавила она со вздохом,— радость еще раз увидеть меня и сказать мне последнее прости. Но, когда я стал ее уверять, что ничто не может разлучить нас и что я решил следовать за ней хоть на край света, дабы заботиться о ней, служить ей, любить ее и неразрывно связать воедино наши злосчастные участи, бедная девушка была охвачена таким порывом нежности и скорби, что я испугался за ее жизнь. Все движения души ее выражались в ее очах. Она неподвижно устремила их на меня. Несколько раз слова готовы были сорваться у нее с языка, но она не имела силы их выговорить. Несколько слов все-таки ей удалось произнести. В них звучали восхищение моей любовью, нежные жалобы на ее чрезмерность, удивление, что она могла возбудить столь сильную страсть, настояния, чтобы я отказался от намерения последовать за нею и искал иного, более достойного меня счастия, которого, говорила она, она не в силах мне дать.

Наперекор жесточайшей судьбе, я обретал свое счастье в ее взорах и в твердой уверенности в ее чувстве. Поистине, я потерял все, что прочие люди чтут и лелеют; но я владел сердцем Манон, единственным благом, которое я чтил. Жить ли

в Европе, жить ли в Америке, не все ли равно, где жить, раз я уверен, что буду счастлив, что буду неразлучен с моею возлюбленной? Не вся ли вселенная — отчизна для верных любовников? Не обретают ли они друг в друге отца, мать, родных, друзей, богатство и благоденствие?

Больше всего мучила меня боязнь видеть Манон в нищете. Я уже воображал себя с ней в первобытной стране, населенной дикарями. «Уверен,— говорил я себе,— что среди них не найдется ни одного столь жестокосердого, как Г... М... и отец мой. Они дадут нам, по крайней мере, жить в мире и покое. Если справедливы рассказы о них, они живут по законам природы [60]; им не ведомы ни бешеная алчность Г... М..., ни сумасбродное чувство чести, сделавшее отца моим врагом; они не потревожат двух влюбленных, которые будут жить рядом с ними с тою же простотой, как они сами». Итак, с этой стороны я был спокоен.

Но я не обольщал себя романтическими надеждами по отношению к насущным жизненным нуждам. Мне слишком часто приходилось испытывать, сколь нестерпима нищета, особенно для женщины нежной, привыкшей к удобствам и роскоши. Я был в отчаянии, что зря опустошил свой кошелек, а те гроши, что у меня оставались, не сегодня завтра будут похищены негодяями-стражниками. Я рассудил, что с небольшими деньгами я мог бы надеяться не только некоторое время бороться с нищетой в Америке, где деньги — редкость, но даже предпринять что-либо для прочного обоснования там.

Это соображение внушило мне мысль написать Тибержу, всегда столь участливому в дружеской помощи. Я написал ему из ближайшего города. Я выставил единственным доводом крайнюю нужду, в которой должен очутиться в Гавре, куда, как признавался, я сопровождаю Манон. Я просил у него сто пистолей. «Перешлите мне их в Гавр с почтой,— писал я.— Поверьте, я в последний раз злоупотребляю вашей дружбой, но несчастная моя возлюбленная навеки отнята у меня и я не могу расстаться с ней, не оказав ей некоторой поддержки, которая смягчила бы ее участь и мою смертельную тоску».

Стражники, как только убедились в безумной моей страсти, стали непрестанно увеличивать таксу малейших услуг и вскоре довели меня до полной нищеты. Любовь же не позволяла мне скупиться. С утра до вечера я не отходил от Манон, и теперь время для меня измерялось не часами, но всей долготой дня. Наконец, кошелек мой опустошился, и я был предоставлен прихотям и грубости шестерых негодяев, которые обращались со мною с нестерпимой наглостью. Вы были свидетелем этому в Пасси. Встреча с вами была счастливой передышкой, ниспосланной мне фортуной. Мои муки возбудили сострадание в благородном сердце вашем. Щедрая ваша помощь позволила мне достигнуть Гавра, и стражники сдержали свое обещание с большей добросовестностью, нежели я надеялся.

Мы прибыли в Гавр. Прежде всего я пошел на почту. Тиберж еще не успел мне ответить. Я навел справки, когда могу ожидать его письма. Оно

могло прийти лишь через двое суток, а по странному предопределению злой судьбы оказалось, что наш корабль должен отплыть утром того дня, когда я ожидал почты [61]. Не могу изобразить вам свое отчаяние. «Как,— вскричал я,— даже в бедствиях моих судьба не знает пределов!» Манон отвечала: «Увы, заслуживает ли наших усилий жизнь столь несчастная? Умрем здесь, в Гавре, дорогой мой кавалер. Пусть смерть покончит разом наши беды. Стоит ли идти, влача их за собою, в неведомую страну, где, несомненно, ждут нас одни ужасы, раз меня ссылают туда в наказание? Умрем,— повторила она,— или, по крайней мере, убей меня и поищи себе иную участь в объятиях любовницы более счастливой».— «Нет, нет,— сказал я,— быть несчастным вместе с вами — для меня участь самая завидная».

Речь ее потрясла меня. Я видел, что она подавлена своими страданиями. Я старался принять вид более спокойный, дабы отогнать от нее мрачные помыслы о смерти и отчаянии. Я решил держаться того же поведения и в будущем; и впоследствии убедился, что ничто не может так воодушевить женщину, как мужество человека, которого она любит.

Потеряв надежду дождаться помощи от Тибержа, я продал свою лошадь. Вырученные мною деньги, вместе с теми, что оставались от ваших щедрот, составили небольшую сумму в семнадцать пистолей. Семь из них я истратил на покупку некоторых припасов, необходимых для Манон, и тщательно припрятал остальные десять, как основу нашего благосостояния и наших надежд в

Америке. Меня без затруднений приняли на корабль [62]. В то время подыскивали молодых людей, готовых добровольно отправиться в колонии. Проезд и пропитание были мне предоставлены бесплатно. С парижской почтой я отправил письмо Тибержу. Оно было трогательно и, несомненно, разжалобило его до последней степени, ибо побудило его к решению, которое могло возникнуть лишь из искренней и великодушной привязанности к несчастному другу.

Мы распустили паруса. Ветер не переставал нам благоприятствовать. Я выхлопотал у капитана отдельную каюту для Манон и для себя. У него достало доброты взглянуть на нас иными глазами, чем на наших жалких спутников. В первый же день я отвел его в сторону и, дабы возбудить к себе участие, поведал ему свои злоключения. Я не счел за постыдную ложь сказать ему, что обвенчан с Манон. Он сделал вид, будто верит мне, и взял меня под свое покровительство. Мы пользовались им в продолжении всего плавания. Он позаботился о нашем столе, и его внимание возбудило уважение к нам товарищей по несчастию. Я не переставал следить за тем, чтобы Манон не терпела ни в чем недостатка. Она не могла не заметить этого и, чувствуя, до каких крайних пределов довела меня преданность ей, с такой нежностью, с такой страстью, с таким вниманием относилась ко мне, что между нами шло постоянное соревнование взаимных услуг и любви. Я вовсе не жалел об Европе; напротив, чем ближе мы подплывали к Америке, тем легче и спокойнее становилось у меня на сердце. Ежели

бы я мог хоть немного чувствовать себя обеспеченным, я возблагодарил бы фортуну за столь приятный оборот злых наших невзгод.

После двухмесячного плавания мы, наконец, пристали к желанному берегу. На первый взгляд страна не представила ничего привлекательного[63]. Перед нами расстилались бесплодные, необитаемые равнины, кое-где поросшие камышом, с редкими деревьями, оголенными ветром. Никаких следов ни человека, ни животных. Между тем капитан приказал дать несколько пушечных выстрелов, и немного спустя показалась группа граждан Нового Орлеана, приближавшаяся к нам с живейшими признаками радости. Мы не видели города: с этой стороны он скрыт небольшим холмом. Нас встретили, как посланцев небес.

Бедные жители наперерыв засыпали нас вопросами о Франции и о различных провинциях, откуда они были родом. Они обнимали нас, как братьев, как дорогих товарищей, пришедших разделить с ними нищету и одиночество. Мы двинулись вместе с ними к Новому Орлеану; но, подойдя к нему, мы были поражены, увидав вместо ожидаемого города, который нам так расхваливали, жалкий поселок из убогих хижин. Население составляло человек пятьсот-шестьсот. Губернаторский дом выделялся немного своей высотой и расположением. Он был защищен земляными укреплениями, вокруг которых тянулся широкий ров.

Прежде всего мы были представлены губернатору. Он долго беседовал наедине с капитаном и, вернувшись затем к нам, оглядел одну за другою

всех девиц, прибывших с кораблем. Их было всего тридцать, потому что в Гавре к нам присоединилась еще одна партия. Потратив немало времени на их осмотр, губернатор вызвал разных молодых горожан, томившихся в ожидании супруги. Красивейших он предоставил старшинам, прочих пустил по жребию[64]. Покуда он ни слова не сказал Манон; но, приказав другим удалиться, он удержал ее и меня. «Капитан сообщил мне, что вы муж и жена,— сказал он,— и что во время плавания вы показали себя людьми разумными и достойными. Не желаю входить в рассмотрение того, что̀ послужило причиной вашего несчастия; но, ежели вы действительно обладаете той порядочностью, о коей говорит мне ваша наружность, я всячески постараюсь облегчить вашу участь, а вы, со своей стороны, найдете чем усладить и мою жизнь в сем диком и пустынном краю».

Я отвечал ему в тоне, соответствующем тому представлению о нас, которое у него сложилось. Распорядившись о нашем помещении в городе, он пригласил нас отужинать с ним. Для лица, начальствующего над несчастными изгнанниками, он показался мне чрезвычайно вежливым. За столом, в присутствии других, он не задавал нам никаких вопросов о наших приключениях. Беседа завязалась общая, и, несмотря на печаль нашу, мы с Манон старались и со своей стороны сделать ее приятною.

Вечером нас проводили в приготовленное нам помещение. Оно оказалось жалкою лачугою из досок, обмазанных глиной, и состояло из двух

или трех комнат, с чердаком наверху. По распоряжению губернатора туда принесли пять-шесть стульев и снабдили нас еще кое-какой необходимой обстановкой.

Манон, казалось, была испугана при виде столь убогого жилища. Для меня же горе ее значило гораздо больше, нежели для нее самой. Когда мы остались одни, она села и горько заплакала. Я стал было ее утешать, но, услышав от нее, что горюет она только обо мне и в наших общих несчастиях тревожится лишь о моих страданиях, я притворился бодрым и даже радостным, дабы заразить и ее своей веселостью. «О чем мне тужить? — сказал я ей;— я обладаю всем, чего желаю. Вы любите меня, не правда ли? Об ином счастии я и не мечтал. Доверим небесам заботу о нашей участи. Она не кажется мне столь безотрадной. Губернатор — человек любезный; он был внимателен к нам; он не допустит, чтобы мы терпели лишения. А что касается до бедной нашей хижины и грубой обстановки, вы сами видели, как мало здешних жителей могут похвастаться лучшим жилищем и обстановкой, нежели наша; ну, а затем ведь ты же изумительный алхимик,— прибавил я, целуя ее; — ты все превращаешь в золото».

«Тогда вы будете первым богачом мира,— ответила она,— ибо, если ничья любовь не достигала силы любви вашей, зато не было на свете и человека, любимого более нежно, чем вы. Отдаю себе должное,— продолжала она.— Вполне сознаю, что ничем не заслужила той необычайной страсти, что вы питаете ко мне. Я причиняла вам та-

кие горести, простить которые могли только вы при вашей беспредельной доброте. Я была ветрена и легкомысленна и, хотя беззаветно любила вас всегда, часто бывала неблагодарна. Но вы не можете поверить, до чего я изменилась. Слезы, струившиеся столь часто из глаз моих со времени нашего отъезда из Франции, ни разу не имели причиною мои собственные страдания. Я перестала чувствовать муки, как только вы разделили их со мною. Я плакала лишь от нежности и сострадания к вам. Я безутешна, что могла причинить вам хоть минутное горе в своей жизни. Не перестаю упрекать себя за свое непостоянство, не перестаю умиляться силою любви вашей к несчастной, которая была недостойна ее и которая не оплатила бы всей своей кровью,— прибавила она, заливаясь слезами,— и половины страданий, вам причиненных».

Ее слезы, слова и самый тон ее речи произвели на меня столь неожиданное и удивительное впечатление, что мне почудилось, будто душа моя как бы разделилась на две части. «Будь осторожна,— сказал я ей,— будь осторожна, милая Манон: у меня слишком мало сил, чтобы выдержать столь горячие уверения любви твоей; я вовсе не привык к избытку радости. О боже,— воскликнул я,— не прошу более ничего; отныне я уверен в сердце Манон; оно таково, о каком мечтал я, чтобы быть счастливым; и теперь я навеки счастлив; блаженство мое упрочено». «Оно упрочено,— промолвила она,— если зависит только от меня; и я знаю, где могу обрести также и свое счастье».

Я заснул, преисполненный блаженных мыслей, превративших мою хижину во дворец, достойный первого короля в мире. Америка уже казалась мне раем. «Надо было перебраться в Новый Орлеан, чтобы вкусить истинных радостей любви,— часто говаривал я Манон.— Нигде, как здесь, царит любовь без корысти, без ревности, без непостоянства. Соотечественники наши стремятся сюда в поисках золота; они и не воображают, что мы обрели здесь сокровища, гораздо более ценные».

Мы старательно поддерживали дружеские отношения с губернатором. Он был так добр, что спустя несколько недель по приезде нашем определил меня на небольшое место, освободившееся к тому времени в форте. Хотя должность была скромная, я принял ее, как милость небес. Она давала мне возможность жить, не будучи никому в тягость. Я нанял слугу для себя и горничную для Манон. Наше небольшое хозяйство наладилось. Я вел скромный образ жизни; Манон также. Мы не упускали случая услужить и помочь нашим соседям. Благосклонное отношение начальства и наша приветливость привлекли к нам доверие и любовь всей колонии. В короткое время мы завоевали себе такое положение, что на нас уже смотрели как на первых лиц в городе после губернатора.

Наши мирные занятия и спокойная жизнь незаметно обратили помыслы наши к религии. Манон и ранее была благочестива. Равно и я никогда не принадлежал к завзятым вольнодумцам, которые хвастают тем, что нравственную свою испорченность сочетают с безбожием. Любовь и молодость

были причиною нашего легкомыслия. Горький опыт заменил нам годы жизни; он даровал нам то, что дала бы долгая жизнь. Наши беседы друг с другом, тихие и рассудительные, мало по малу отвратили нас от любви порочной. Я первый предложил Манон узаконить наши отношения. Я знал ее сердце. Она была прямодушна и искренна во всяком проявлении чувств своих — качество, располагающее человека к добродетели. Я дал ей понять, чего не достает нашему счастью: «Оно должно получить благословение божие,— сказал я.— Разве с такой любящей душой, с таким чудесным сердцем можно жить в сознательном забвении долга? Пусть жили мы так во Франции, где было нам одинаково немыслимо как перестать любить друг друга, так и узаконить нашу любовь; но в Америке, где мы зависим только от себя самих, где нам не нужно считаться с условными законами света, где нас даже считают мужем и женой, кто помешает нам стать ими в действительности, почему не увенчать нашу любовь обетами, признаваемыми Церковью? Что до меня, то ничего нового я вам не предлагаю, предлагая свою руку и сердце; но я готов вам принести их в дар пред алтарем».

Мне показалось, что речь моя преисполнила ее радостью. «Поверите ли вы,— отвечала она,— что много, много раз я думала об этом, с тех пор как мы в Америке? Только боязнь вызвать ваше недовольство побудила меня затаить в сердце это желание. Я вовсе не притязаю на высокое звание вашей супруги».— «О, Манон,— воскликнул я,— ты стала бы супругой короля, если бы небесам

угодно было, чтобы я родился коронованным. Не будем колебаться. Нам не угрожают никакие препятствия. Я сегодня же поговорю с губернатором и признаюсь ему, что мы обманывали его до сих пор. Пусть другие, грубые нравом любовники,— прибавил я,— страшатся неразрывных уз брачных. Они не стали бы их страшиться, будь они столь же уверены, как и мы, в крепости уз, налагаемых самою любовью».

Манон была вне себя от радости, услышав мое решение.

Я убежден, что любой честный человек в мире одобрил бы мои намерения в тех обстоятельствах, в каких я находился, то есть приняв во внимание, что я роковым образом был порабощен непреоборимой страстью и терзался неусыпными укорами совести. Но кто обвинит меня в ропоте на судьбу, когда я пострадал от жестокости небесного судии, который отверг мое намерение угодить ему? Увы, что говорю я? Отверг! Он наказал его как преступление. Он долго терпел меня, покуда я слепо шел по пути греха, и самое суровое его возмездие было уготовано мне к тому сроку, когда я ступил на путь добродетели. Боюсь, что у меня не хватит сил закончить рассказ о самом мрачном событии, какое когда-либо со мной случалось.

Я пошел к губернатору, как сговорился с Манон, просить о разрешении нам обвенчаться. Я бы ни за что не обратился к нему, будь я уверен, что местный священник, единственное духовное лицо в городе, окажет мне эту услугу помимо него; но, не смея надеяться на его молчание, я решил действовать открыто.

У губернатора был племянник по имени Синнеле, которого любил он чрезвычайно. Он был лет тридцати, смелый, но заносчивый и горячий. Он был холост. Красота Манон поразила его с первой минуты, и бесчисленные встречи с ней за эти девять или десять месяцев так разожгли его любовь, что втайне он чахнул по ней. Однако, будучи убежден вместе со своим дядей и всем городом, что я действительно женат на ней, он настолько совладал со своей страстью, что ничем ее не проявлял и даже много раз оказывал мне самую дружескую помощь.

Прибыв в форт, я застал вместе и дядю и племянника. У меня не было никакого повода скрывать от молодого человека мое намерение, так что я без стеснения объяснился в его присутствии. Губернатор выслушал меня с обычным своим благожелательством. Я рассказал ему часть своей истории, которую он прослушал с удовольствием, и, когда я попросил его присутствовать на брачной церемонии, великодушно предложил взять все расходы на себя. Я ушел очень довольный.

Через час ко мне явился священник. Я воображал, что он пришел дать мне некоторые наставления касательно обряда венчания; но, холодно мне поклонившись, он в двух словах заявил, что губернатор запрещает мне и думать о браке и что у него иные виды на Манон. «Иные виды на Манон! — воскликнул я и сердце у меня сжалось в смертной тоске.— Какие же виды, сударь?» Он отвечал, что мне должно быть ведомо, что губернатор полный хозяин здесь; что раз Манон выслана из Франции в колонию, то он властен рас-

поряжаться ею; что до сих пор он оставлял ее в покое, считая ее замужней, но, узнав от меня самого, что это не так, он полагает уместным выдать ее за Синнеле, который влюблен в нее.

Благоразумие было бессильно удержать меня. Гордо я указал священнику на дверь, поклявшись, что ни губернатор, ни Синнеле, ни целый город вместе взятые не посмеют посягнуть на мою жену или любовницу, как бы они ее ни называли.

Я немедленно рассказал Манон о роковом известии, только что полученном мною. Мы поняли, что Синнеле поколебал волю своего дяди после моего ухода и что он давно замышлял отбить у меня Манон. Они были сильнее нас. В Новом Орлеане мы находились как бы на островке среди моря, то есть отделенные огромным пространством от всего остального мира. Куда бежать в стране неведомой, пустынной, населенной дикими зверями и людьми, столь же дикими? Меня уважали в городе, но я не мог надеяться настолько возбудить в себе сочувствие в населении, чтобы рассчитывать на помощь равносильную врагу. Без денег нельзя было обойтись; я же был беден. Кроме того успех народного возмущения был сомнителен; и, если бы судьба отвернулась от нас, наше несчастие было бы непоправимо.

Все эти мысли проносились у меня в голове; отчасти я их сообщал Манон; не слушая ее ответа, я продолжал думать дальше, принимал какое-нибудь решение и сейчас же отбрасывал, чтобы принять другое; я говорил сам с собою и громко отвечал на свои мысли; наконец я пришел в такое возбуждение, что не могу ни с чем его сравнить,

ибо подобного ему нельзя себе представить. Манон не сводила с меня глаз: по моему смятению она могла судить о размерах опасности, и, трепеща за меня больше, чем за себя самое, нежная девушка не смела проронить ни слова, чтобы выразить свою тревогу.

После бесконечного ряда размышлений я остановился на решении пойти к губернатору и употребить все силы, чтобы воздействовать на его чувство чести и тронуть его напоминанием о моем почтительном к нему отношении и о нашей дружбе. Манон не хотела меня отпускать. Со слезами на глазах говорила она: «Вы идете на верную смерть; они вас убьют; я более вас не увижу; я хочу умереть раньше вас». Понадобилось много усилий, чтобы убедить ее в необходимости мне идти, а ей оставаться дома. Я обещал ей возвратиться как можно скорее. Она не ведала, да и я тоже, что на нее-то и должен обрушиться небесный гнев и ярость врагов наших.

Я пришел в форт; губернатор был со священником. Чтобы возбудить его сострадание, я не остановился перед самыми униженными просьбами, от которых умер бы со стыда в любом другом случае; я пустил в ход все доводы, способные растрогать любое сердце, если только оно не принадлежит дикому, свирепому тигру.

На все мои жалобы этот варвар твердил лишь одно: Манон, говорил он, в его распоряжении, и он дал слово своему племяннику. Решив сдерживать себя до последней крайности, я ограничился только словами, что почитал его слишком большим другом, чтобы он мог пожелать моей смерти,

которую я всегда предпочту потере своей возлюбленной.

Я ушел в полной уверенности, что мне нечего надеяться на упрямого старика, готового тысячу раз погубить свою душу ради племянника. Но, вместе с тем, я не оставил намерения сохранить до конца видимость покорности, твердо решив, в случае если несправедливость восторжествует, явить Америке самое кровавое и ужасающее зрелище, какое когда-либо творила любовь.

Я возвращался домой, обдумывая план действий, когда судьба, желавшая ускорить мою гибель, послала мне навстречу Синнеле. Он прочел мои мысли в глазах моих. Я уже упоминал, что это был человек смелый: он подошел ко мне. «Вероятно, вы ищете меня? — сказал он.— Знаю, что мои намерения оскорбляют вас, и предвидел, что нам не обойтись без кровавого поединка: посмотрим, кто будет счастливее». Я отвечал ему согласием, сказав, что только смерть положит конец нашей распре.

Мы отошли шагов на сто от города. Наши шпаги скрестились; я ранил и обезоружил его почти одновременно. Он пришел в такое бешенство от своей неудачи, что отказался просить пощады и уступить мне Манон. Быть может, я и был вправе разом отнять у него и жизнь и Манон, но благородство никогда не изменяло мне. Я швырнул ему его шпагу. «Начнем опять,— сказал я,— и помните, что теперь без пощады». Он бросился на меня с неописуемой яростью. Должен признаться, что фехтовал я неважно, пройдя лишь трехмесячную школу в Париже. Но шпагу мою

направляла любовь. Синнеле насквозь пронзил мне руку; все же я улучил мгновение и нанес ему столь сильный удар, что он замертво свалился к ногам моим.

Несмотря на радость, какую дает победа в бою не на жизнь, а на смерть, я тотчас же стал размышлять о последствиях этой смерти. Мне нечего было надеяться ни на помилование, ни на отсрочку казни. Зная любовь губернатора к своему племяннику, я был уверен, что смерть ждет меня не позже, чем через час после того как исход поединка станет известным. Как ни велик был этот страх, не он был главною причиной моей тревоги. Манон, судьба Манон, ее гибель и неизбежная утрата ее — вот что приводило меня в такое смятение, что у меня темнело в глазах и я переставал понимать, где нахожусь. Я завидовал жребию Синнеле: быстрая смерть казалась мне единственным избавлением от моих мук.

Однако именно эта мысль вернула мне здравый рассудок и дала силы принять решение. «Как, мне желать смерти, чтобы покончить со своими страданиями?! — воскликнул я.— Разве есть нечто более страшное для меня, нежели утрата любимой? Нет! Я вынесу жесточайшие муки ради моей возлюбленной, а умереть я успею, когда они окажутся бесполезными».

Я пошел обратно в город. Возвратясь домой, я застал Манон полумертвою от страха и тревоги. Мое присутствие оживило ее. Я не мог скрыть от нее ужасного случая, происшедшего со мной. Узнав о смерти Синнеле и о моей ране, она упала без сознания в мои объятия. Более четверти

часа потратил я на то, чтобы привести ее в чувство.

Я сам был полумертв; впереди я не видел никакой надежды ни на свое, ни на ее спасение. «Манон, что нам делать? — сказал я ей, когда она немного пришла в себя.— Увы! на что решиться? Мне необходимо бежать. Хотите ли вы остаться в городе? Да, оставайтесь здесь; здесь вы еще можете быть счастливы; я же ухожу далеко от вас искать смерти среди диких племен или в когтях хищных зверей».

Она поднялась, несмотря на свою слабость; взяла меня за руку, чтобы проводить до двери. «Бежим вместе,— сказала она; — не будем терять ни минуты. Труп Синнеле могут случайно найти, и мы не успеем уйти далеко».— «Но, дорогая Манон,— возразил я в полном замешательстве,— куда же нам идти? Есть ли у вас какая-нибудь надежда? Не лучше ли вам попытаться жить здесь без меня, а мне добровольно отдаться в руки губернатора?»

Предложение это лишь еще более воспламенило ее стремление бежать; мне оставалось только последовать за нею. У меня еще было настолько присутствия духа, чтобы, уходя, захватить с собой несколько фляжек с крепкими напитками из нашего запаса и всю провизию, какая поместилась в моих карманах. Сказав прислуге, бывшей в соседней комнате, что мы идем на вечернюю прогулку (таков был наш заведенный порядок), мы удалились из города с большей поспешностью, чем, казалось, позволяло хрупкое сложение Манон.

Хотя я был по-прежнему в нерешительности относительно места нашего убежища, я тем не менее лелеял две надежды, и, не будь их, я предпочел бы смерть неизвестности о том, что ждет Манон в будущем. За десять почти месяцев пребывания в Америке я достаточно хорошо изучил страну, чтобы узнать правила обхождения с дикарями. Можно было отдаться в их руки, не опасаясь верной смерти. Я даже выучил несколько слов на их языке и при разных встречах, которые мне приходилось иметь с ними, узнал некоторые их обычаи.

Помимо этого жалкого плана, я возлагал также надежду на англичан, которые, подобно нам, владеют поселениями в этой части Нового Света. Но я страшился дальности расстояния: до их колоний предстояло нам много дней пути по бесплодным равнинам и через горы, столь крутые и обрывистые, что дорога туда была трудна даже для самых грубых и выносливых людей. Все же я льстил себя надеждой, что мы можем воспользоваться и теми и другими: дикари нам помогут в пути, англичане дадут нам приют в своих поселениях [65].

Мы шли, не останавливаясь, насколько позволяли силы Манон, то есть около двух миль, ибо несравненная моя возлюбленная неуклонно отказывалась сделать привал. Наконец, изнемогая от усталости, она призналась, что дальше идти не в силах. Была уже ночь; мы уселись посреди обширной равнины, не найдя даже дерева для прикрытия. Первой заботой ее было сменить на моей ране повязку, которую сделала она

собственноручно перед нашим уходом. Я тщетно противился ее воле; я бы смертельно огорчил ее, если бы лишил ее удовольствия думать, что мне хорошо и я вне опасности, прежде чем она позаботится о себе самой. В течение нескольких минут я покорялся ее желаниям; я принимал ее заботы молча и со стыдом.

Когда она перевязала мне рану, я снял с себя все одежды и уложил ее на них, чтобы земля была ей менее жестка. Как она ни противилась, я заставил ее принять все мои заботы о возможном ее удобстве. Я согревал ее руки горячими поцелуями и жаром своего дыхания. Всю ночь напролет я бодрствовал подле нее и возносил к небу мольбы о ниспослании ей сна тихого и безмятежного. О боже! сколь пламенны и искренни были мои моления! и сколь жестоко ты их отверг!

Позвольте мне досказать в нескольких словах эту повесть, воспоминание о коей убивает меня. Я рассказываю вам о несчастье, подобного которому не было и не будет; всю свою жизнь обречен я плакать об утрате. Но, хотя мое горе никогда не изгладится из памяти, душа каждый раз холодеет от ужаса, когда я приступаю к рассказу о нем.

Часть ночи провели мы спокойно; я думал, что моя дорогая возлюбленная уснула, и не смел дохнуть, боясь потревожить ее сон. Только стало светать, я заметил, прикоснувшись к рукам ее, что они холодные и дрожат; я поднес их к своей груди, чтобы согреть. Она почувствовала мое движение и, сделав усилие, чтобы взять мою руку,

сказала мне слабым голосом, что, видимо, последний час ее близится.

Сначала я отнесся к ее речам, как к обычным фразам, произносимым в несчастии, и отвечал только нежными утешениями любви. Но учащенное ее дыхание, молчание в ответ на мои вопросы, судорожные пожатия рук, в которых она продолжала держать мои руки, показали мне, что конец ее страданий недалек.

Не требуйте, чтобы я описал вам то, что я чувствовал, или пересказал вам последние ее слова. Я потерял ее; она и в самую минуту смерти не уставала говорить мне о своей любви. Это все, что я в силах сообщить вам об этом роковом и горестном событии.

Моя душа не последовала за ее душою. Небо считало меня, конечно, недостаточно еще сурово наказанным; ему угодно было, чтобы я и дальше влачил томительную и жалкую жизнь. Я добровольно отказываюсь от жизни счастливой.

Более суток не отрывал я уст своих от лица и рук дорогой моей Манон. Намерением моим было умереть там же; но в начале второго дня я рассудил, что после моей смерти тело ее станет добычей диких зверей. Я решил похоронить ее и ждать смерти на ее могильном холме. Я был уже так близок к концу, ослабев от голода и страданий, что мне стоило огромных усилий держаться на ногах. Я принужден был прибегнуть к подкрепительным напиткам, что захватил с собою; они дали мне силы для совершения печального обряда. Мне не трудно было разрыть землю в том месте, где я находился: то была песчаная равнина,

Я сломал шпагу, чтобы она заменила мне заступ; но она оказала мне меньше помощи, чем мои собственные руки. Я вырыл широкую яму и положил в нее кумир своего сердца, предварительно завернув ее в мои одежды, дабы песок не коснулся ее. Но перед тем я тысячу раз перецеловывал ее со всем пылом беспредельной любви. Я присел около нее; долго смотрел на нее, не решаясь засыпать могилу. Наконец, силы мои стали слабеть, и, боясь, что они иссякнут совсем прежде окончания моей работы, я схоронил навеки в лоне земли то, что было на ней самого совершенного и самого милого; затем я лег на могилу, уткнувшись лицом в землю и, закрыв глаза с тем, чтобы никогда не открывать их, вознес к небу моление о помощи и стал с нетерпением ожидать смерти.

Вам трудно будет поверить, что за время совершения скорбного обряда у меня не скатилось ни одной слезы, не вырвалось ни единого вздоха. Глубокое уныние мое и твердое решение умереть пресекли всякие выражения отчаяния и горя. Я долго пробыл в этом положении, пока не потерял последних остатков сознания и чувства.

После того, что вы слышали, заключение повести моей столь маловажно, что не заслуживает вашего любезного внимания. Когда тело Синнеле было принесено в город, и раны его тщательно осмотрены, оказалось, что он не только не мертв, но даже не ранен опасно. Он сообщил дяде, как все произошло между нами, и чувство чести побудило его тотчас же во всеуслышание заявить о моем благородстве. Послали за мной и, обнару-

жив, что дом пустой, заподозрили наше бегство. Было слишком поздно, чтобы снарядить погоню по свежим следам; но следующие два дня были посвящены преследованию.

Я был найден без признаков жизни на могиле Манон, и видя меня почти обнаженным и истекающим кровью, никто не сомневался, что я ограблен и убит. Меня понесли в город. Покачивание носилок привело меня в чувство. Вздохи, которые я испустил, открывая глаза и с болью видя себя среди людей, показали, что мне еще может быть подана помощь; к сожалению, мне оказали ее слишком успешно.

Меня все же заточили в тесную темницу. Было наряжено следствие; и, так как Манон не появлялась, меня обвинили в том, что в припадке бешеной ревности я заколол ее. Я просто и чистосердечно рассказал, как произошло горестное событие. Синнеле, несмотря на неистовое горе, в какое поверг его мой рассказ, имел великодушие ходатайствовать о моем помиловании и добился его.

Я был настолько слаб, что меня принуждены были перенести из темницы прямо в постель, к которой три месяца я был прикован жестокой болезнью. Мое отвращение к жизни не ослабевало; я постоянно призывал смерть и долгое время упорно отвергал все лекарства. Но небо, покарав меня столь сурово, намеревалось обратить мне на пользу все бедствия и испытания: оно просветило меня светом своим и тем дало мыслям моим направление, достойное моего рождения и воспитания.

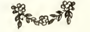
Спокойствие понемногу стало восстанавливаться в моей душе, и с этой переменой скоро последовало и выздоровление. Я отдался всецело внушениям чести и продолжал выполнять скромную работу в ожидании французских кораблей, которые раз в год совершают плавание в эту часть Америки. Я решил возвратиться на родину, дабы жизнью разумной и порядочной искупить позор своего поведения. Синнеле позаботился перенести тело дорогой моей возлюбленной в достойное место упокоения.

Месяца полтора протекло со времени моего выздоровления, когда, однажды, гуляя в одиночестве по берегу, я увидал торговое судно, приближающееся к Новому Орлеану. Я стал внимательно следить за высадкой экипажа и был крайне поражен, узнав Тибержа в числе пассажиров, направлявшихся к городу. Хотя после моих несчастий я сильно переменился, старый верный друг еще издали узнал меня. Он сообщил мне, что единственным поводом к его путешествию было желание повидаться со мною и убедить меня вернуться во Францию; получив письмо мое из Гавра, он лично приехал туда, чтобы оказать мне помощь, о которой я просил; огорченный известием о моем отъезде, он собирался немедленно отправиться вслед за мною, если бы нашелся готовый к отплытию корабль; несколько месяцев он искал таковой в разных портах и, найдя наконец в Сен-Мало корабль, отплывавший на Мартинику, погрузился на него, надеясь легко переправиться оттуда в Новый Орлеан; по пути корабль был захвачен испанскими пиратами и отведен к одному

из их островов, оттуда Тибержу удалось бежать, и после разных скитаний он повстречал это маленькое судно, которое благополучно доставило его ко мне.

Я не находил слов выразить признательность столь великодушному и преданному другу. Я повел его к себе, предоставил в его распоряжение весь свой дом. Я рассказал ему все, что случилось со мною после отъезда из Франции, и, дабы порадовать его неожиданностью, сообщил, что семена добродетели, брошенные некогда им в мое сердце, начали приносить плоды, которые должны удовлетворить его. Он ответил на это, что столь сладостное для него уверение вознаграждает его за все тяготы путешествия.

Вместе мы провели с ним два месяца в Новом Орлеане в ожидании кораблей из Франции, и, пустившись, наконец, в море, высадились в Гавре две недели тому назад. По прибытии я написал родным. Из ответа старшего брата я узнал печальную весть о смерти отца, которую, как я с трепетом думаю, несомненно ускорили мои заблуждения. Пользуясь попутным ветром, я тотчас же сел на корабль, отплывавший в Кале, а отсюда поеду к одному дворянину, моему родственнику, живущему в нескольких милях от города; там должен ждать меня брат, о чем сообщает он мне в письме своем.



ПРИЛОЖЕНИЯ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО АББАТА ПРЕВО

Как известно, литературные репутации изменчивы и зыбки: сколько писателей и поэтов, которых современники провозгласили величайшими гениями, уже ближайшими потомками были низведены с вершин славы, а вскоре и вовсе забыты. С другой стороны, как много таких, которые не были поняты и оценены современниками, умерли в безвестности, и лишь после смерти заняли почетное место в истории литературы.

Аббата Прево нельзя причислить ни к той, ни к другой из этих двух категорий. Его литературная судьба — особо редкий случай: современники зачитывались его большими романами, внимательно прислушивались к его публицистике. Но уже в начале XIX века слава этих романов по-

меркла, публицистика устарела, и само имя аббата Прево давно было бы забыто, если бы он, словно невзначай, как бы на полях своих объемистых произведений, не написал небольшой повести — «История кавалера де Грие и Манон Леско».

Зато эта повесть, занимающая по своему объему ничтожное место в его литературном наследии, принесла Прево поистине бессмертную славу и поставила его в один ряд с крупнейшими представителями мировой литературы.

Монах, солдат, писатель, проповедник, авантюрист, ученый — таковы различные облики, которые последовательно открывали в нем его современники. В истории литературы имя Прево стало неотделимым от слова «аббат», но духовный сан, пожалуй, меньше всего подходил этому мятущемуся, легкомысленному, увлекающемуся человеку.

Антуан Франсуа Прево родился 1 апреля 1697 года в городе Эдене (Hesdin, провинция Артуа) в почтенной буржуазной семье, из которой вышло несколько крупных чиновников, священников и судейских. Первоначальное образование он получил в родном городе, в иезуитской школе и уже в ранней юности стал готовиться к вступлению на духовное поприще. Едва достигнув положенного возраста — 16 лет — он поступил послушником в иезуитский монастырь в Париже; здесь вскоре оценили незаурядные способности юноши и два года спустя (1715) он был направлен в городок Ля Флеш, где находилось одно из крупнейших учебных заведений того времени — училище Генриха IV. Здесь Прево пред-

стояло заняться изучением богословия, философии и других гуманитарных наук.

Однако уже через год Прево по неизвестным причинам покидает Ля Флеш.

С этого времени начинаются его бесчисленные приключения, которые молва всячески преувеличивала и расцвечивала, благодаря чему его имя оказалось окруженным множеством легенд. Прево приписывались самые невероятные поступки, вплоть до чудовищных преступлений — вроде того, что он будто бы убил своего отца, был двоеженцем и т. п.

Сама кончина его дала повод к созданию мрачной легенды: рассказывали, будто однажды Прево, находясь в деревне, впал в обморочное состояние. Местный лекарь принял обморок за смерть и решил вскрыть «труп». Во время вскрытия Прево очнулся с тем, чтобы тут же испустить дух.

Историкам литературы пришлось потратить немало труда, чтобы очистить биографию Прево от вздорных вымыслов, но и того, что осталось в ней неоспоримого, достаточно, чтобы представить себе, как сложна, мятежна и противоречива была его жизнь, особенно в молодые годы.

Уйдя из Ля Флеш, Прево поступает в армию простым солдатом; но это было неблагоприятное время для военной карьеры: многолетняя война за «испанское наследство» только что кончилась, и на продвижение в чинах рассчитывать было нельзя. Все же Прево провел в армии около двух лет, после чего (1719) сделал попытку вернуться к иезуитам, но получил отказ. Прево решает отправиться в Рим, чтобы исхлопотать у главы

ордена иезуитов разрешение на вторичный прием в послушники. По дороге он заболевает, оказывается в крайней нужде, и на помощь ему приходит некий офицер, который помещает его в больницу и ссужает деньгами. Однако вскоре выясняется, что офицер руководствовался не столько человеколюбием, сколько надеждой завербовать юношу в армию. Помощь, оказанную Прево, он считал задатком в счет солдатского жалованья и стал принуждать Прево поступить на военную службу. Спасаясь от принудительного зачисления в армию, Прево бежит в Голландию, а немного спустя возвращается в родительский дом. По-видимому, именно в ту пору он переживает приключение, которое легло в основу его знаменитой повести.

Как и герой этой повести, Прево решил последовать за своей возлюбленной, которую задержала полиция, однако в дороге он заболел, отстал от партии арестантов и навсегда потерял след девушки. Горе и отчаяние, вызванные утратой возлюбленной, побуждают Прево искать уединения, и он вновь поступает в монастырь, но уже не к иезуитам, а к бенедиктинцам, которые славились своими научными трудами, в частности, по истории.

После года послушничества Прево приносит обет монашества (1721).

Но в одном из писем того времени он откровенно говорит, что сознает себя непригодным для монастыря: «Нельзя не признать, что я ни в какой степени не годен для монашества и все те, кому известна тайна моего посвящения, никогда

не предвещали от него добрых плодов»[1]. Прево все же старается сломить себя, смириться, забыть свои горести, углубившись в научные занятия; он усердно пополняет свои знания, сам преподает. Но уклад монастырской жизни все-таки тяготит его, он тоскует по независимости, и отношения его с монастырским начальством все более усложняются. Достаточно сказать, что за семь лет (1721—1728) Прево восемь раз переходил из одной обители в другую и ни в одной из них не мог удержаться.

Не менее красноречиво и другое обстоятельство. Именно к этому времени относится начало литературного творчества Прево: в кельях монастырей Блан-Манто и Сен-Жермен-де-Прэ он пишет первые четыре тома «Записок знатного человека, удалившегося от света»,— романа, которому суждено было принести ему громкую славу. Первые два тома вышли в свет в начале 1728 года.

Появление же III и IV тома совпадает с крутым поворотом в судьбе Прево: он тайком бежит из монастыря и отправляется в Париж. Бенедиктинцы делают попытку замять скандал и уговорить его вернуться, однако безуспешно. Тогда они обращаются к начальнику полиции с просьбой задержать беглого монаха; 6 ноября 1728 года был выдан ордер на его арест. Любопытно, что в жалобе бенедиктинцев уже упоминается о том, что Прево является автором «Записок знатного человека»,— книги, которая вызвала в Париже

[1] Harrisse. L'abbé Prévost. P., 1896, p. 15.

много шуму. Буквально несколько дней спустя — 19-го ноября — цензор подписал разрешение на печатание III и IV томов «Записок знатного человека».

Как только Прево узнал о том, что ему грозит арест, он поспешил покинуть родину и перебрался в Англию. Тут начинается новый этап его приключений, а вместе с тем пора его наиболее интенсивной литературной деятельности.

Годы 1729—1734 Прево проводит в изгнании. Одно время он служит в семье английского аристократа в качестве воспитателя его сына. Однако больше всего внимания и времени он уделяет литературной работе.

В 1731 году Прево переехал в Голландию; он привез с собою, по-видимому, уже вполне законченную «Историю кавалера де Грие и Манон Леско», которую намеревался предложить амстердамским издателям. Однако, ввиду исключительного успеха «Записок знатного человека», голландские книготорговцы предпочли получить от писателя продолжение «Записок». Нуждаясь в деньгах, Прево взялся написать еще два тома «Записок», хотя этот роман, казалось бы, и не требовал продолжения. Из коммерческих соображений к этим двум томам был присоединен еще один, содержавший в себе «Историю кавалера де Грие и Манон Леско», причем сам автор в обращении к читателю вынужден был признаться, что история эта никак не связана с событиями, о которых говорится в «Записках».

Итак, повесть, обессмертившая имя аббата Прево, впервые появилась в свет летом 1731 года как

MEMOIRES

ET

AVANTURES

D'UN HOMME

DE QUALITE

Qui s'est retiré du monde.

TOME SEPTIEME.



A AMSTERDAM.

Aux dépens de la COMPAGNIE,

MDCCXXXI.

Титульный лист VII тома «Записок знатного человека», где впервые была напечатана «История кавалера де Грие и Манон Леско»

дополнение к ныне забытым «Запискам знатного человека».

К этому времени аббат Прево уже приобрел широкую известность. «Записки знатного человека», как и последовавшие за ними романы, имели у современников большой успех.

Популярность сочинений Прево определялась прежде всего их занимательностью. Страницы его книг наполнены захватывающими событиями — похищениями, убийствами, погонями, диковинными совпадениями. Действие развертывается в таинственных подземельях, замках, дремучих лесах, в далеких странах. Среди действующих лиц всегда имеется «злодей» — мрачная и загадочная личность, носитель зла.

Аббат Прево склонен злоупотреблять таинственностью и ужасами, и это нередко придает развертывающимся событиям неправдоподобный характер. Однако неоспоримым достоинством его романов является то, что они написаны проникновенным психологом, которому удается правдиво передавать чувства и поступки людей, поставленных даже в самые неправдоподобные условия.

Авантюрный характер романов Прево в какой-то степени роднит его с авторами реалистических «плутовских» романов, в частности, с Лесажем; однако легко заметить отличие Прево от этих писателей: в плутовском романе события развертываются в «низменной» среде и герои стремятся к завоеванию лишь материальных, житейских благ, герои же Прево — мечтатели и романтики, живущие прежде всего жизнью сердца и воображения.

С другой стороны, Прево несомненно испытал влияние и авторов так называемого «прециозного» романа, герои которого также переживают многочисленные, порой фантастические, приключения, причем в основе всех коллизий здесь также лежит чувство любви.

Существенным отличием Прево от этих авторов является то, что его герои гораздо менее рационалистичны, они не предаются кропотливому самоанализу, они гораздо полнокровнее, жизненнее, «телеснее».

Увлекали читателей и те новые черты, которыми Прево наделял своих героев: в его романах выступают люди, захваченные титаническими, всепоглощающими страстями, борьба с которыми непосильна для человека. И среди этих страстей господствующее положение занимает любовь.

«Любовь неистова, она несправедлива, жестока, она готова на все крайности, она предается им без малейшего раскаяния. Освободитесь от любви, и вы окажетесь человеком почти без пороков» [2] — так говорит Знатный человек своему воспитаннику. Но слова бессильны. Это знает и сам Знатный человек. Он сам, как и многие другие избранники, испытал на себе несокрушимую власть любви.

Любовь у аббата Прево — роковая, стихийная, непреодолимая страсть, в большинстве случаев трагическая, ведущая человека к отчаянию и гибели, порою толкающая его на страшные преступления. Вместе с тем герои Прево видят в любви

[2] P. Hazard. Etudes critiques sur l'abbé Prévost. Chicago (1929), p. 21.

высшее благо; только избранным дано испытать ее, и за это блаженство человек готов на любые жертвы.

«Несомненно, что существуют сердца, созданные друг для друга, такие, которые никогда никого не полюбили бы, если бы им не посчастливилось встретиться. Стоит им только встретиться, как они сразу чувствуют, что предназначены друг для друга и что счастье их заключается в том, чтобы никогда не разлучаться. Какая-то тайная сила побуждает их любить друг друга; им нет нужды в уверениях, испытаниях, клятвах — у них мгновенно рождается взаимное доверие, которое и побуждает их беззаветно отдаться друг другу» [3] («Записки знатного человека», т. I).

Эмоциональная сторона романов Прево явилась одной из причин их большой популярности. Современница Прево, мадемуазель Аиссе — та самая черкешенка, воспитанная во Франции, жизнь которой послужила канвою для его романа «История современной гречанки» — писала в 1728 году о «Записках знатного человека»: «Книга эта не так уж хороша, и все-таки читаешь все ее сто девяносто страниц, заливаясь слезами» [4].

Как психолог, Прево находится под влиянием великих драматургов эпохи классицизма — Корнеля и Расина, в трагедиях которых также господствуют необоримые страсти. Но там чувства представляются более отвлеченными и являются уделом мифологических героев или выдающихся исторических лиц (королей, полководцев), а в

[3] Там же, стр. 21.
[4] Harrisse. L'abbé Prévost, p. 131.

романах Прево страсть бушует в сердцах людей, занимающих в обществе более скромное положение; именно благодаря ей эти люди и возвышаются над общим уровнем. Поэтому страсть героев Прево приходит в столкновение с обычными факторами человеческой жизни — материальными обстоятельствами, семейными соображениями и т. п.

В 1731—1739 годах Прево пишет свой второй большой роман «Английский философ, или история г-на Клевленда, побочного сына Кромвеля, написанная им самим и переведенная с английского автором «Записок знатного человека».

Роман полон диковинных приключений и жутких событий: Клевленд, незаконный сын Кромвеля, преследуемый своим отцом и обреченный на бесчисленные страдания, пылает любовью к Фанни, дочери лорда Аксминстера, но обстоятельства разлучают влюбленных. Лорд Аксминстер получает пост губернатора английских колоний в Америке и увозит туда свою дочь. Клевленд бросается вслед за возлюбленной, но долго не может найти ее; прибыв на Мартинику, он узнает, что Аксминстер с дочерью только что отправился на Кубу; однако Клевленд и там не застает своей возлюбленной; он узнает, что отец повез ее дальше, во Флориду. Клевленд снова пускается на розыски и наконец находит отца и дочь — они попали в руки дикарей и им грозит смерть.

В таком духе и развертываются события на протяжении восьми томов. При всей невероятности событий автору удается увлекательно и правдиво передавать переживания своих героев

и внушать читателям сочувствие к их трагическим судьбам.

В 1733 году аббат Прево основал в Лондоне еженедельный журнал «За и против», задачей которого было знакомить читателей с наиболее значительными явлениями культурной жизни Англии — с ее наукой, политическим укладом, нравами и т. п. Особенно много внимания уделялось в журнале английской литературе. Поскольку английская буржуазия была в то время классом более зрелым, чем буржуазия французская — во Франции с интересом следили за политической, общественной и литературной жизнью англичан. Аббату Прево удалось поставить журнал образцово; как подчеркивалось в самом его названии, журнал стремился к всестороннему освещению материала и к максимальной объективности. Достоверность сообщаемых в журнале сведений, беспристрастный его тон, обоснованность критических выступлений внушали современникам большое уважение к этому изданию. Достаточно сказать, что сам Вольтер добивался благожелательного отзыва в нем о своих сочинениях. Вместе с тем Прево стремился сделать журнал занимательным и общедоступным, и это способствовало его популярности как в дворянской, так и в мещанской среде.

Журнал издавался до 1740 года и сыграл значительную роль в деле сближения английской и французской культуры.

В 1734 году Прево получил возможность вернуться на родину: папа даровал ему прощение с тем, чтобы Прево снова прошел искус послушни-

чества. По возвращении во Францию Прево начинает издание третьего своего большого романа под названием: «Киллеринский настоятель; моральная история». Главный герой романа — ирландский священник, горбун и калека, человек редкостной доброты и благородства, всегда готовый на самопожертвование. Он принимает участие в бурной жизни своих двух братьев и сестры с тем, чтобы нравственно поддержать их, помочь им разобраться в обуревающих их страстях и осознать свои заблуждения.

В 1736 году один из крупнейших французских вельмож, принц Конти, пригласил Прево в состав своей свиты на должность придворного священника. Прево занимал эту должность только номинально; она не была связана с какими-либо обязанностями, но и не приносила ему никакого дохода; зато положение свитского священника давало ему возможность жить вне монастыря. Слава крупнейшего писателя современности открыла аббату Прево доступ в великосветское общество и литературные салоны; у него появляется много друзей, много почитателей, он состоит в переписке со многими выдающимися современниками, в частности, с Вольтером. Но материальное его положение плачевно. В одном из писем к Вольтеру (1740) Прево сетует на денежные затруднения: жалованья он не получает, долги растут. Прево просил Вольтера похлопотать перед прусским королем Фридрихом о предоставлении ему какой-либо должности, однако он вскоре отказался от мысли отправиться в Берлин, отчасти из-за отсутствия средств на путешествие.

Именно в это время Прево суждено было еще раз оказаться в изгнании. В те годы во Франции были широко распространены рукописные журналы, в которых сообщались всевозможные новости, слухи, светские сплетни, нередко отнюдь не соответствовавшие действительности. Ловкие дельцы, так называемые journalistes à la main негласно размножали эти журналы от руки и рассылали подписчикам. Прево имел неосторожность помочь одному из таких подпольных журналистов в литературной обработке материала. Кто-то из влиятельных людей почел себя оклеветанным в этом листке, журналист был арестован, началось следствие, и когда выяснилось, что Прево участвовал в редактировании журнала, начальник полиции предложил ему покинуть Францию. Прево провел в изгнании, в Бельгии и во Франкфурте, полтора года.

По возвращении Прево на родину, его жизнь вошла в мирную колею, слава его была в полном расцвете, пришли годы душевного покоя и относительного благосостояния. Но творчество его пошло на убыль. Прево, и без того много сделавший для приобщения соотечественников к английской культуре, теперь занялся переводом романов Ричардсона, которыми тогда зачитывалась вся Европа. В 1751 году он издал «Клариссу»; «Грандиссон» в переводе Прево вышел уже после его смерти — в 1775 году. Отлично выполненные, переводы Прево получили не меньшее распространение, чем подлинный текст. Любопытно, что Прево, сам грешивший в своих романах длиннотами, делал в произведениях Ричардсона значи-

тельные сокращения и тем самым придавал им бо́льшую выразительность и стройность.

Помимо перечисленных выше романов, много труда Прево положил на составление объемистой и в свое время очень популярной «Всеобщей истории путешествий». Он начал выпускать ее в 1746 году. Первые семь томов представляют собою не что иное, как сделанный Прево перевод английского труда Джона Грина, издававшегося в Лондоне в 1745—1747 годах книгопродавцем Астли. Английское издание прекратилось на седьмом томе, после чего Прево уже самостоятельно составил следующие восемь томов; последний из них вышел в свет в 1759 году.

Издание это имело большой успех; оно знакомило широкие круги читателей с далекими странами, с бытом и нравами различных народов. Самого Прево всегда привлекали незнакомые страны; он, как мы видели, много путешествовал и странствия его были вызваны не только необходимостью, но и интересом к чужим, далеким краям. Эта черта делает Прево предшественником романтиков, в творчестве которых экзотика заняла столь значительное место.

Прево не оставлял литературной работы до последнего своего дня. Смерть застала его за составлением истории рода принцев Конде и Конти. Он умер от разрыва сердца 25 ноября 1763 года во время прогулки возле Шантийи.

Как уже было сказано выше, «История кавалера де Грие и Манон Леско» впервые была издана в 1731 году в Голландии в виде VII тома «Записок знатного человека». Во Франции шедевр Прево

не сразу был оценен по достоинству. Любопытно, что парижская издательница вдова Делон, поспешившая перепечатать V и VI тома «Записок», не добавила к ним «Историю». Несмотря на шумный успех «Истории» в Голландии и хвалебные отзывы голландских журналов, французские издатели не напечатали ее и в 1732 году. Во Франции повесть была впервые издана лишь в 1733 году. Она вышла как самостоятельное произведение (отдельно от «Записок») в Руане (с пометкой «Амстердам»); на титуле значилось: «сочинение г-на Д ***».

Книга имела огромный успех. «На нее летели как бабочки на огонь» — говорит современник, литератор и адвокат Матье Марэ [5].

«Парижская придворная и городская газета» помещает 21 июня 1733 года следующую заметку:

«На-днях вышел в свет новый том «Записок знатного человека». Книга написана с таким мастерством и так занимательно, что даже порядочные люди сочувствуют мошеннику и публичной девке».

Немного позже, 3 октября, в той же газете можно было прочесть:

«Недавно здесь напечатана «История Манон Леско и кавалера де Грие», служащая продолжением «Записок Знатного Человека». Герой — мошенник, героиня — публичная девка, и все же автору каким-то образом удается внушить порядочным людям сочувствие к ним. Сочинитель этот

[5] Harrisse. L'abbé Prévost, p. 177.

HISTOIRE
DU CHEVALIER
DES GRIEUX,
ET DE
MANON LESCAUT.
PREMIERE PARTIE



A AMSTERDAM,
Aux dépens de LA COMPAGNIE.
M. DCC LIII.

Титульный лист первого издания второй редакции «Истории кавалера де Грие и Манон Леско»

пишет отменно; он в прозе то, что Вольтер — в стихах».

Но немного спустя власти дают приказ об изъятии и уничтожении книги. Сохранился документ о конфискации пяти экземпляров у одного парижского книготорговца и двух экземпляров у другого.

«К «Истории Манон Леско» можно кое-что добавить,— писала та же газета 12 октября.— Эта книжечка, только что начавшая привлекать к себе всеобщее внимание, на днях запрещена. Помимо того, что в ней почтенным людям приписываются поступки, мало достойные их,— порок и распущенность описаны сочинителем так. что не вызывают к себе должного отвращения».

В этих заметках не упоминается имя Прево, и широкая публика, вероятно, не знала, кто является автором сенсационной книги.

Но в письмах к известному в то время юристу и литератору, академику Буйе (Bouhier) Марэ называет имя автора «Истории». Приводим несколько отрывков из этих писем, ибо они красноречиво говорят о том, какое представление о Прево создалось у его современников.

«Париж, 1 декабря 1733 г.

...Этот бывший бенедиктинец — полоумный; недавно он написал омерзительную книжку под названием «История Манон Леско», а героиня эта — потаскуха, посидевшая в Приюте и в кандалах отправленная па Миссисипи. Книжка про-

давалась в Париже и на нее летели как бабочки на огонь, на котором следовало бы сжечь и книжку и самого сочинителя, хотя у него и недурной слог».

«Париж, 8 декабря 1733 г.

Прочитали ли Вы «Манон Леско»? Там всего-навсего одно удачное сравнение: девушка была до того хороша, что могла бы восстановить в мире язычество».

«Париж, 15 декабря 1733 г.

Просмотрите же «Манон Леско», а потом бросьте ее в огонь; но один раз ее прочесть следует, а не то поместите ее в раздел приапей, где ей место» [6].

Изъятие книги из продажи не могло, конечно, приглушить ее успеха и современники читали повесть Прево в многочисленных голландских изданиях, которые усиленно ввозились во Францию.

Запрещение повести как произведения безнравственного в эпоху, когда нравы отличались особенной распущенностью, кажется теперь непонятным. Но может быть именно эта распущенность и явилась причиной недооценки и непонимания основной идеи автора: современники увидели в повести Прево только историю фривольных приключений двух распущенных молодых людей. Именно так объяснял недооценку современниками произведения Прево А. И. Герцен.

---

[6] Harrisse. L'abbé Prévost, p. 177.

О несерьезном отношении к повести свидетельствует, по мнению Монтеглона, и такая деталь. В Лондоне книга была издана со следующим обозначением мнимой издательской фирмы: «В Лондоне, у братьев Констан, под вывеской «Непостоянство». Игривое противопоставление фамилии «Констан» (означающей по-французски «постоянство») вывеске «Непостоянство» свидетельствует о непонимании трагического содержания книги[7]. Отметим к тому же, что повесть здесь была названа не «Историей», а «Приключениями».

Запрещение повести побудило Прево выступить в ее защиту в своем журнале. Пользуясь тем, что книга вышла анонимно и что статья в журнале тоже печатается анонимно, Прево позволил себе дать оценку своего труда. Тонко анализируя свою повесть, Прево старается смягчить произведенное ею впечатление и отвести упреки в том, что он написал «безнравственную» книгу[8].

---

[7] Библиографическая справка Анатоля де Монтеглона в издании «Манон Леско» братьев Глади (Glady frères). P., 1875, p. 328.

[8] Статья помещена в журнале «Le Pour et Contre», т. III, № XXXVI, стр. 137 и полностью перепечатана в указанном выше издании братьев Глади (Glady frères), стр. 7—9. Заметим кстати, что эту апологию иногда ошибочно принимают за третье предисловие к повести (считая первым предисловием письмо к амстердамским издателям, предпосланное «Истории кавалера де Грие и Манон Леско» в VII томе «Записок знатного человека» и приведенное в издании Глади на стр. 326—328; вторым предисловием является напечатанное в нашем издании, стр. 5).

Вот что писал Прево:

«Публика с большим удовольствием прочитала последний том «Записок Знатного человека», содержащий приключения кавалера де Грие и Манон Леско.

Мы видим в них юношу, наделенного блестящими и бесконечно привлекательными способностями, который увлечен безрассудной страстью к полюбившейся ему молодой женщине и предпочитает распущенную бродячую жизнь всем благам, которые сулят ему его таланты и его происхождение; это злосчастный раб любви, заранее предвидящий ожидающие его невзгоды, но лишенный силы предпринять что-либо, чтобы их избежать; он остро переживает эти невзгоды, он утопает в них и все же пренебрегает средствами, которые помогли бы ему занять лучшее положение; словом, это юноша одновременно и порочный и добродетельный, благонамеренно мыслящий и дурно поступающий; он привлекателен строем своих мыслей и отвратителен своими поступками. Это характер своеобразный (singulier).

Характер Манон Леско еще своеобразнее. Она знает, что́ такое добродетель, она даже ценит ее, и все же совершает недостойнейшие поступки. Она страстно любит кавалера де Грие, однако стремление жить богато и блистать принуждает ее изменять своим чувствам и кавалеру, которому она предпочитает богача-финансиста. Какое же искусство требовалось, чтобы увлечь читателя и внушить ему сочувствие к тем гибельным невзгодам, которые переживает эта развращенная девушка!

Хотя оба они весьма распутны, их жалеешь, ибо видишь, что их разнузданность происходит от слабоволия и от пыла страстей и что они к тому же внутренне сами осуждают свое поведение и признают, сколь оно предосудительно.

Следовательно, изображая зло, сочинитель отнюдь не учит злу. Он рисует влияние неистовой страсти, которая делает рассудок бесполезным, когда человек имеет несчастье вполне предаться ей; такая страсть хотя и не может вполне заглушить в сердце добродетель, препятствует следовать ей на деле. Словом, это сочинение обнажает все опасности, которые несет с собою распутство. Не найдется такого юноши, такой девушки, которым захотелось бы походить на кавалера и его возлюбленную. Они порочны, но их терзают раскаяние и горести.

Зато характер Тибержа, добродетельного священника, друга кавалера, превосходен. Это человек мудрый, преисполненный благочестия и набожности; это друг нежный и великодушный; это сердце, неизменно сокрушающееся о заблуждениях друга. Сколь привлекательна набожность, когда она сопутствует такому прекрасному характеру!

Я ничего не скажу о стиле этого сочинения. В нем нет ни грубости, ни высокопарности, ни софистических рассуждений; тут пером водит сама Естественность. Каким жалким кажется рядом с ним стиль писателей напыщенных и прикрашающих истину! Тут сочинитель не гонится за остроумием или за тем, что называется таковым. Это стиль не лаконически-тугой, но плав-

ный, насыщенный и выразительный. Всюду — живопись и чувства, притом живопись правдивая и чувства естественные».

Повесть находилась под запретом в течение двадцати лет. Только в 1753 году запрет был снят и вышло новое издание в двух томиках, с многочисленными, хотя и не меняющими основ, поправками и добавленным эпизодом.

С тех пор «Манон Леско» прочно заняла место среди самых выдающихся произведений мировой литературы.

Во Франции она печаталась поистине бесчисленное количество раз — и в виде дорогих изданий с иллюстрациями знаменитых художников, и в массовых грошовых изданиях, и в виде томов большого формата с широкими полями, и в виде миниатюрных карманных томиков, и в виде «академических» изданий с предисловиями, примечаниями, библиографическими справками, вариантами и т. п.

Появилось большое количество статей (иногда в виде предисловий), авторы которых с разных точек зрения трактуют произведение, стремятся разгадать тайну очарования главной героини.

В кратком очерке нет возможности перечислить все отзывы французских писателей и критиков. Отметим только наиболее значительные.

Поль де Сен-Виктор пишет: «Есть книги непристойные, которыми мы любуемся, несмотря на их грязь, но жалеем при этом, что не можем очистить грязные страницы. «Манон Леско» представляет собою удивительное исключение — эта повесть нравится именно своей непристойностью,

и мы отнюдь не хотели бы обелить ее героиню. Будь Манон не столь виновна и не столь безнравственна, она перестала бы быть самою собой. Пятнышко грязи идет этой игривой девушке словно мушка. Это отличительный знак, по которому ее узнают любовники. Не приходится колебаться в выборе слова для определения этого подлого и восхитительного создания; она «девка» в самом неприглядном смысле слова». «Подобно Ундине немецкого поэта у нее нет души»[9].

Уссэ (Houssaye), подчеркивая автобиографическую достоверность повести, говорит, что Прево изобразил себя в этом произведении дважды: в образе де Грие — свою страсть, в образе Тибержа — свою совесть. «Аббат Прево в жизни был поочередно то де Грие, то Тибержем; в этих двух характерах безупречно правдиво сказываются два начала, которые непрестанно боролись в его пылком, но слабом сердце. Де Грие и Тиберж — это действие и противодействие, это прилив и отлив, это безрассудство, несущееся вскачь, как дикий конь, и разум, который удерживает его за гриву и укрощает, лаская»[10]. «В этой повести — весь Прево; весь его талант, все его сердце»[11].

Александр Дюма-сын в своем известном предисловии к повести Прево говорит, что нельзя упрекать писателей в том, что, изображая распущенность, они поощряют ее; если бы не было

---

[9] Paul de Saint-Victor. Hommes et dieux. P., 1880, p. 479, 481.
[10] Histoire de Manon... P., Jouaust, 1874, p. VII.
[11] Там же, стр. XXVI.

распущенности, говорит он, то не было и писателей, которые ее описывают. Дюма подчеркивает, что в повести Прево, как и во всяком совершенном произведении, ярко отразился дух эпохи. «Перенесите повесть о Манон Леско, как она есть, в другую эпоху и в другие нравы, и она потеряет смысл,— говорит он; но тут же делает оговорку: — Чувства, которые в ней описываются, и которые неотъемлемы от человеческого сердца, т. е. от того, что пребывает вечно неизменным, останутся столь же правдивыми, но описываемые факты то и дело будут возмущать вас своим неправдоподобием». Дюма утверждает, что если отец де Грие, Тиберж, развратные старики и прочие персонажи повести — яркие представители эпохи Регентства, то сама Манон — тип, существовавший во все времена. «Ты — юность, ты — чувственность, ты — вожделение, ты — отрада и вечный соблазн для мужчины. Ты даже любила — насколько может любить подобная тебе, то есть любила, желая получить от любви только удовольствие и выгоду. Едва только приходилось чем-нибудь пожертвовать — ты уклонялась от этого». О кавалере Дюма говорит: «Что за неиссякаемый источник жертв, самоотверженности, всепрощения! Этот чудак становится неблагодарным сыном, вероломным другом, он мошенник, он убийца! Но ему все прощаешь: он любит». «Он изменяет всем; Манон он не изменяет никогда; он ни на минуту не перестает думать о ней». «Не найдется порядочного человека, который, выслушав повесть о его бедствиях, не протянул бы ему руку, быть может, даже не позавидовал бы ему.

Ибо тот, кто не любил тебя, Манон, тот не познал всех глубин любви». «Но ты знаешь, Манон, что этот человек гораздо лучше тебя, лучше в тысячу раз! Только лишившись всего, ты начала понимать, что́ он собою представляет, и в этом ты — вполне женщина. Зато он, как хорошо он тебя знает,— и как он терзается этим! Тяжело переживая твои постоянные измены, он страдает не только оттого, что лишается радости обладать тобой и не только оттого, что эту радость ты доставляешь другому, а потому, что он знает: каков бы ни был твой соучастник, эту радость ты разделишь с ним». Вместе с тем Дюма замечает, что таких женщин как Манон любят и прославляют только пока они молоды. «Мораль, которую ты попираешь ногами, обязанности, которые ты презираешь, законы, которые ты нарушаешь, рано или поздно входят в свои права и ты, в свою очередь попранная, презираемая и опозоренная, разбиваешься о то, что так же вечно, как и ты: о семью, труд, скромность и любовь» [12].

Мопассан дал тонкий анализ образа Манон в предисловии к изданию Лонетт. Начав с утверждения, что женщина создана лишь для любви и материнства, Мопассан говорит, что «писатели оставили нам всего лишь три-четыре дивных образа женщины, которые живут в нас как воспоминания,— словно мы знали этих женщин — и настолько осязательно, что кажутся живыми». Упомянув Дидону Вергилия, Джульетту Шекспи-

[12] «Histoire du chevalier des Grieux...». P., Glady frères, 1875, p. XIX.

ра, Виржини Бернерден-де-Сен-Пьера, он замечает: «И, наконец, Манон Леско, самая женственная из всех, простодушно-плутоватая, вероломная, любящая, волнующая, остроумная (spirituelle), опасная и очаровательная. В этом образе, полном обаяния и врожденного коварства, писатель как будто воплотил все, что есть самого увлекательного, пленительного и низкого в женщинах. Манон — женщина в полном смысле слова, именно такая, какою всегда была, есть и будет женщина». «И как же искренна эта потаскушка во всех своих плутнях, как она чистосердечна в своей бесчестности!» «В любви она — зверек, хитрый от природы зверек, совершенно лишенный способности к утонченным чувствам, или, вернее, всякого стыда. И все-таки она любит «своего шевалье», но на свой лад, как может любить существо, лишенное совести». «Ни один женский образ не был обрисован с такой тонкостью и полнотой как этот; ни одна женщина не была столь женственна, не была до такой степени полна этой квинтэссенцией женского начала, столь влекущего, столь опасного, столь вероломного!» [13]

* * *

В России произведения аббата Прево пользовались известностью еще при жизни писателя. Первый перевод «Записок знатного человека» вышел

---

[13] Предисловие к изданию Лонетт (Launette). P., 1885.— Перевод В. Г. Дмитриева (Мопассан. Собр. соч., т. XIII. М., 1950, стр. 231).

в 1756—1764 годах. «История кавалера де Грие и Манон Леско» появилась на русском языке в 1790 году (в виде VII—VIII томов «Записок»).

В дореволюционной русской критической литературе не было работ, специально посвященных «Истории кавалера де Грие и Манон Леско», но в беглых упоминаниях о повести Прево неизменно отмечаются ее художественные достоинства.

Так, Белинский в статье о романе Эжена Сю «Тереза Дюнойе», где рассказывается история преданной любви героини к недостойному человеку, говорит:

«Мысль верная, но не новая! Ее давно уже прекрасно выразил аббат Прево в превосходном романе своем «Манон Леско». И далее Белинский замечает, что роману Прево «по его поэтической и психологической верности суждено бессмертие» [14].

Герцен в «Дневнике» (сент. 1842 г.) пишет: «Повесть о Manon будет всегда прекрасным произведением».

Вместе с тем Герцен замечает, что недооценка повести Прево при ее появлении была связана с общей распущенностью нравов, характерной для верхних слоев французского общества того времени. «Легкий взгляд XVIII столетия не умел разглядеть во всю ширину и бездонность ужас любви к такому существу как Manon...» — говорил он [15].

---

[14] Белинский. Собр. соч., т. X. М., Изд-во АН СССР, стр. 116, 105.

[15] Герцен. Собр. соч. т. II. М., Изд-во АН СССР, стр. 225. 226.

Отметим, что и Белинский и Герцен видят трагичность любви де Грие в том, что она внушена ему недостойной женщиной.

Повесть аббата Прево высоко ценил и Тургенев. В письме к Полине Виардо от 5/17 января 1848 года он говорит: «Я перевожу «Манон Леско»» [16]. По этому поводу Л. П. Гроссман замечает: «Это значительный момент его трудов и дней. Он брался за переводы лишь самых близких, дорогих и глубоко пленивших его созданий». «Маленькая книжка аббата Прево должна была сильно взволновать Тургенева, если он взялся за перевод французского текста в самом разгаре работы над «Записками охотника» и первыми комедиями...» [17].

Тургенев переводил «Манон Леско» на испанский язык для практики, но и для этой цели он мог взять, конечно, только очень близкое ему произведение. К. Н. Леонтьев приводит повесть Прево как пример «гениального творения негениального автора» [17а].

Б. А. Грифцов, противопоставляя «Историю кавалера де Грие и Манон Леско» произведениям писателей, которые ограничиваются описанием приключений героя (например, романам Лесажа), отмечает, что «роман зажил жизнью новой и необычайно интенсивной, когда в него вошла этика». «Прево не искал особых случаев, чудо-

[16] Тургенев. Собр. соч., т. I. М., Изд-во АН СССР, стр. 291, 455.

[17] Л. Гроссман. Портрет Манон Леско (Два этюда о Тургеневе). М., 1922, стр. 14.

[17а] К. Н. Леонтьев. Собр. соч., т. VIII. М., 1912, стр. 326.

вишных или анекдотических. Случай внешне простой обнаруживал в себе контроверсу, которую Прево тем острее ощущал, чем менее был в силах найти из нее выход. Этим, очень простым ощущением своей беспомощности перед сулящим сомнительное счастье чувством и значительна повесть «Манон Леско». Что в сущности мешало ее героям найти выход из положений, одно другого позорнее? Очень правильное замечание было однажды высказано: плохой романист непременно сделал бы Манон более нравственной и этим убил бы роман. Манон легкомысленна, тщеславна, ей необходимы всякие пустяки и блеск. Она изменяет де Грие даже не потому, что ее гонит нужда. Она обещает исправиться и не исправится никогда. Именно такою он ее любит и любовь заставляет его пасть так низко» [18].

В дальнейшем советские литературоведы посвятили творчеству Прево и, в частности, «Истории кавалера де Грие и Манон Леско» несколько работ, причем все авторы единодушны в высокой оценке повести.

Так, А. К. Виноградов в кратком предисловии, предпосланном повести в издании «Academia» замечает: «...в отличие от своих современников и предшественников, Прево взял действительно живое существо, изобразил его чертами глубокой реальности, снизив его качество обращенностью на глубоко реальный, но, быть может, не совсем полноценный предмет. Манон не является «образцовой» девушкой, «безукоризненной женщи-

[18] Б. А. Грифцов. Теория романа. М., 1927, стр. 85—86.

ной»; вот почему этот роман поражает читателя необычайной свежестью красок и правдивостью ситуаций» [19].

В последующих работах советских литературоведов обнаруживается стремление перенести проблематику повести из области этической и психологической в область социальную и толковать «Историю» как произведение, изобличающее пороки аристократического и буржуазного общества. Одновременно намечается тенденция ко все более решительной «реабилитации» возлюбленной кавалера де Грие.

Рано умерший талантливый литературовед В. Р. Гриб в предисловии к «Манон Леско» сделал попытку более глубокого истолкования повести Прево, однако некоторые выдвинутые им соображения представляются спорными: «Все несчастья де Грие и Манон,— говорит он,— происходят от того, что они вступили в столкновение с аристократическими условностями, и в этом столкновении моральная сила оказывается как раз на стороне мнимых «преступников», а не на стороне официальной морали. Разве есть что-нибудь преступное или отталкивающее в характерах Манон и де Грие?»

С другой стороны, критик замечает: «Просветительская литература часто выводила на сцену «падших созданий» с целью их реабилитации, как жертв сословного угнетения». «Падение» изображалось как следствие внешних, социальных условий, не затрагивающее внутренней чи-

[19] Прево. Манон Леско. М., «Academia», 1932, стр. 11.

стоты. Прево нарушает этот канон просветительской литературы. Не только сословные предрассудки, внешние препятствия разрушили счастье двух влюбленных, но и *внутренние причины* — *характер самой Манон*, неуловимый и причудливый, сотканный из противоречий и загадок. Прево как художника интересует не борьба со злом, а неуловимое их слияние».

По мнению критика, «взгляды (де Грие.— *Е. Г.*) на любовь и его поступки — это выражение того, как *представлялись* новые человеческие взаимоотношения *самим новым людям*, людям XVIII века, которые еще могли питать розовые иллюзии относительно их характера. Поступки же Манон — это выражение *действительного характера* этих отношений» [20].

Н. Я. Берковский в статье «Эволюция и формы раннего реализма на Западе» говорит, что « «История кавалера де Грие и Манон Леско», быть может, самый совершенный и бессмертный для нас роман этого столетия». По мнению автора, «де Грие не собирается исправлять Манон,— «склонность к удовольствиям», ради которой она изменяет нищему де Грие, сама по себе природна и человечна в его глазах. В этом романе господствует понятие человеческого максимума, естественной доступности человеку всех малых и больших благ, какими располагает общежитие». «Манон справедлива, когда требует для себя театров, платья и еще десятка мелких радостей,—

[20] Прево. Манон Леско. М., «Academia», 1936, стр. X, XIII, XIV, XVI.

де Грие через голову Манон относит свое обвинение к обществу в его данном историческом виде. С Манон снимается ответственность, тема аббата Прево — это трагедия индивидуальной любви в условиях ее бытового неосуществления, когда от нее остается только «верность сердца» и когда самая плоть любви доступна с торгов каждому, кто даст больше. Несчастье де Грие в том, что внутренне Манон ни разу не изменила ему. Чувственная острота романа обусловлена этим раздвоением любви на физическое и духовное, и де Грие страдает от того, что физическая Манон постоянно ускользает от него, в то время как духовно она всегда ему принадлежит» [21].

Л. А. Левбарг в статье «Манон Леско аббата Прево» убедительно анализирует основные образы повести: «Кавалер де Грие целиком отдается своей страсти и, следуя за Манон, падает все ниже и ниже. Но это падение кавалера де Грие в обществе связано с его нравственным ростом. Любовь, перерождая де Грие, поднимает его над обществом, вырывает молодого аристократа из круга узких моральных представлений».

Однако и Л. А. Левбарг склонна объяснять конфликт различием сословной принадлежности героев и оправдывать Манон: «Любовь, возникшая с первого взгляда и поразившая героя как «удар молнии», сталкивается с различной сословной принадлежностью ее носителей». «Манон ни в чем не виновата; если она и совершает

---

[21] «Ранний буржуазный реализм», сб. статей. Л., 1936, стр. 67.

аморальные поступки, она этого не сознает. В этой искренности и простоте и заложены причины обаятельности всего ее облика» [22].

Г. Н. Гендрихсон еще более категорична и прямолинейна, чем ее предшественники, в нравственном оправдании героев повести: «Носителями подлинной моральной правоты выступают в его (Прево.— *Е. Г.*) романе как раз мнимые преступники, а добродетельные Тиберж и отец де Грие оказываются, в конечном счете, подлинными преступниками, разбившими жизнь де Грие и погубившими прелестную Манон» [23].

В диссертации «Антуан Прево и его роман «Манон Леско» », защищенной И. Н. Пожаровой в 1953 году, определяется место, которое занимает творчество Прево в литературе XVIII века. По мнению автора, для Прево характерно «обличение феодально-абсолютических порядков, оказывающих губительное действие на судьбу человека...» «Глубокое непонимание существует между влюбленными (де Грие и Манон.— *Е. Г.*) и теми, кто считает, что все продается...» Автор полагает, что основной проблемой романа является не только протест против сословных предрассудков, но борьба со всем обществом, со всей системой общественных отношений, существовавшей в то время. Став на такую точку зрения, автор идеализирует Манон: «Ее жажда роскоши не только

[22] «Ученые записки Ленинградского педагогического института им. Герцена», т. XXVI. Л., 1939, стр. 163—167.

[23] «История французской литературы», т. I. М., Изд-во АН СССР, 1946, стр. 722.

«черта эпохи», но проявление развитой и богатой души...» «Все существо ее властно требует от жизни полноты счастья, ее не удовлетворит скромная жизнь с любимым. В Манон чувствуется отказ от религиозно-феодальной морали. Она — человек, заявляющий права на всестороннее удовлетворение своих потребностей». «Ее развлечения — не пустое времяпрепровождение, в них находит отдых и удовлетворение душа сложная и глубокая» [24].

В 1962 году повесть Прево впервые в России была издана на французском языке. В предисловии к этому изданию Ю. Б. Виппер отмечает, что «в обществе, где царят деньги, как показывает Прево, нет одной общей морали. Их две: одна — для господ, а другая — для их жертв». «От страницы к странице писатель показывает, как неуклонно зреет и крепнет привязанность Манон к шевалье, постепенно очищая ее нравственные понятия, преобразуя ее в отношении к внешнему миру». «Душевная чистота не вытравлена из сознания Манон. Подчиняясь отталкивающим нравам своего окружения, она не заражается духом стяжательства. Она стремится к деньгам не ради денег. Де Грие и Манон не могут обойтись без золота, ибо им кажется, что оно необходимо им для полноты любовного счастья, но одновременно презирают его».

В противоположность большинству наших критиков автор справедливо подчеркивает черты, от-

[24] И. Н. Пожарова. Антуан Прево и его роман «Манон Леско». Канд. дисс. М., 1953, стр. 143, 175, 176, 180.

личающие де Грие от его возлюбленной: «С еще большей силой тема неистребимой душевной чистоты находит выражение в образе де Грие, центрального и истинно проблемного героя повести. Враждебные силы не могут сломить, подчинить себе окончательно де Грие, разлучить его с Манон. Свои падения он искупает ценой жестоких страданий и тяжелых лишений. Его любовь к Манон не только источник его ошибок, но одновременно и источник его силы. Борьба за Манон является для де Грие борьбой за человека и за свое собственное право на человечность. Самое важное не то, что увлеченный своим чувством, он может стать на время карточным шулером, а то, что во имя любви он может и пожертвовать своим личным благополучием, добровольно отправиться в ссылку, обречь себя на нищету и бесконечные страдания» [25].

* * *

В «Истории кавалера де Грие и Манон Леско» аббат Прево трактует тему роковой, всепоглощающей любви — тему, которая, как мы видели, является доминирующей в его творчестве. Но в отличие от больших романов Прево со сложной, запутанной фабулой, «История кавалера де Грие и Манон Леско» отличается редкостной стройностью и уравновешенностью композиции. Быть может это объясняется автобиографическим

---

[25] «Манон Леско». М., Изд-во литературы на иностр. языках, 1962, стр. 16—18.

характером повести, тем, что драма, глубоко пережитая самим писателем, послужила достаточным материалом и позволила ему отказаться от нагромождения надуманных положений и событий.

Прево создал столь пленительный облик «падшей девушки», что она вскоре затмила своего преданного рыцаря в сознании читателей. Доказательством тому служит на первый взгляд мелкий, но весьма красноречивый факт: уже в начале XIX века книгоиздатели стали произвольно вносить «поправку» в название повести: «История кавалера де Грие и Манон Леско» превратилась в «Историю Манон Леско и кавалера де Грие», а с годами героиня и вовсе вытеснила де Грие с титульного листа книги: повесть стали нередко называть просто «Манон Леско».

Только в последнее время французские издатели вернулись к первоначальному, самим автором данному, названию. Перестановка имен может показаться мелочью; на самом же деле здесь затрагивается вопрос об основном герое, о том, чью именно трагедию задумал рассказать нам автор. И не зря, конечно, Прево на первое место поставил имя де Грие; именно де Грие, а не Манон — трагический герой повести. На это можно возразить, что в повести два героя, связанные общностью чувств, и что они неотделимы друг от друга, как неотделимы, например, Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда и многие другие персонажи прославленных произведений. Но такое возражение неправомерно — и в трагедии Шекспира и в средневековом романе перед нами

два героя, одинаково благородные, одинаково самоотверженные и действительно составляющие духовно единое целое. Они переживают одну и ту же, общую для обоих, трагедию. Так, по-видимому, понимают конфликт де Грие и Манон и те критики, которые говорят о нравственной чистоте Манон и в этом отношении приравнивают ее к де Грие.

Между тем в событиях, о которых рассказывает Прево, конфликт заключается в глубоком различии характеров кавалера и его возлюбленной.

Если бы де Грие был так же аморален, как Манон, встреча их не повлекла бы за собою трагедии: соединив свою судьбу с Манон, он превратился бы в преуспевающего сутенера и, принимая во внимание внешнюю привлекательность Манон, друзья зажили бы, не ведая забот и нужды. Кстати,— именно такой путь и подсказывают кавалеру и брат Манон и она сама.

Но все дело в том, что де Грие и Манон — натуры глубоко различные; в их нравственной сущности, в их интеллектуальном облике мало общего. Трагедия де Грие — в невозможности осуществить с Манон тот высокий идеал любви, который только и может удовлетворить его, а вся трагедия Манон сводится к недостатку материальных благ.

По воле писателя рассказ ведется от имени де Грие. Автобиографическая форма повествования позволяет Прево с исчерпывающей глубиной и правдивостью раскрыть перед нами внутренний мир героя. Роковой характер их встречи под-

черкивается ее чистой случайностью, а мгновенно вспыхнувшая страсть говорит о полной иррациональности его чувства. Так же внезапно загорается страсть в сердцах героев средневекового романа «Тристан и Изольда»; но там чувство возникает под действием выпитого молодыми людьми приворотного зелья. В повести Прево нет такого «материализованного» колдовства, де Грие побежден не колдовским напитком, а внешним очарованием незнакомки. Влечение де Грие к Манон сугубо чувственное, оно внушено не душевными достоинствами, а внешней привлекательностью девушки. Сама внезапность этой страсти свидетельствует о ее чисто чувственной основе,— влечение де Грие вспыхивает при первом же взгляде на девушку, прежде чем он получает возможность хотя бы поверхностно познакомиться с ней.

Чувственная основа увлечения де Грие еще явственнее сказывается во время второй его встречи с Манон, в семинарии. Если при встрече на постоялом дворе де Грие, еще не зная Манон, мог предполагать, что ее внешнему обаянию соответствует и нравственное совершенство, то теперь, после предательства Манон и ее ухода к богатому покровителю, де Грие уже не может заблуждаться.

Отметим также, что при первой встрече он был еще юношей вполне свободным в выборе жизненного пути, а ко времени вторичной встречи, два года спустя,— он уже стал человеком не только более опытным в жизни, но и принявшим на себя известные обязательства перед обществом и

собственной совестью. Итак, вторичное «падение» де Грие — гораздо серьезнее и глубже первого, а вторая «победа» Манон, в отличие от первой, случайной и не зависевшей от ее воли, предпамеренна и еще более убедительна.

Врожденное благородство и идеализм де Грие мешают ему видеть Манон такою, какая она есть. Лишь в редкие минуты просветления, чаще всего в отсутствие возлюбленной, де Грие сознает свою нравственную деградацию, и он тем глубже переживает ее, что, по его убеждению, борьба для него непосильна и невозможна, ибо воля человека не свободна.

Французские литературоведы, в особенности Поль Азар, подчеркивают, что в мировоззрении де Грие сильно сказывается влияние янсенизма. Голландский богослов Янсений (1585—1638) учил, что воля человека сама по себе не свободна в выборе между добром и злом; только помощь провидения, только божественная благодать укрепляет человека и направляет его к добру. Янсенизм получил во Франции в XVII—XVIII веках широкое распространение не только в богословских кругах, но и в обществе. Среди сторонников янсенизма можно назвать таких выдающихся мыслителей и писателей как Паскаль, Арно, Расин и другие. В повести Прево влияние янсенизма особенно сказывается в философских рассуждениях де Грие.

Верный своим высоким идеалам любви, кавалер относится к Манон как к чистейшему воплощению женственности. Следует отметить, что де Грие ни-

чего не говорит нам о физическом облике, о чертах лица Манон. Для него она — абсолют, заключающий в себе все совершенства.

И как истинный рыцарь, де Грие приносит своему кумиру в жертву все, чем он располагает — свое доброе имя, общественное положение, семью, карьеру, материальное благополучие; он готов, если понадобится, принести в жертву и самую жизнь.

Образ Манон по своим художественным достоинствам принадлежит к числу самых совершенных созданий мировой литературы. Автору удалось так убедительно соединить в своей героине внешнее обаяние и внутреннюю ограниченность, что читатель все время находится на грани противоположных чувств, то восхищаясь, то возмущаясь ею.

Нельзя, правда, забывать, что образ Манон мы воспринимаем со слов де Грие — самого пристрастного рассказчика, какого только можно себе представить. Де Грие всегда старается оправдать Манон и лишь в редкие мгновения более или менее ясно осознает ее недостатки.

Де Грие, естественно, рисует перед нами Манон главным образом такою, какою он видел ее в дни их совместной жизни, другими словами — рисует с лучшей стороны. Ни о ее прошлом, ни о поведении ее за спиною де Грие, в домах богатых клиентов, мы ничего не знаем, ибо это неизвестно и самому рассказчику.

При всей своей искренности и правдивости де Грие сильно идеализирует свою возлюбленную. Так, например, он говорит, что при первой

встрече с Манон в Амьене ему показалось, что «чувства ее возбуждены не менее моих». В действительности же Манон согласилась бежать вместе с юношей, с которым едва успела познакомиться, прежде всего потому, что ей во что бы то ни стало надо было избавиться от монастыря, куда родители решили ее поместить «против ее воли, несомненно, с целью обуздать ее склонность к удовольствиям, которая уже обнаружилась». Следовательно, говорить о внезапно возникшем у Манон чувстве нельзя. Манон сразу же поняла, какую выгоду она может извлечь из встречи с молодым и богатым дворянином. Сам де Грие отмечает, что девушка (хоть ей в ту пору шел только семнадцатый год) была гораздо опытнее него.

О семье Манон мы ничего не знаем. В первой редакции повести автор говорил, что Манон происходит «не из благородной семьи». Во второй редакции (1753) он говорит определеннее: она происходила «из заурядной семьи». Поправка эта была сделана Прево, вероятно, в угоду аристократическим читателям того времени, которым могло показаться невероятным и оскорбительным, что из их среды вышла публичная женщина. Но для нас это «уточнение» ничего не меняет: существенно то, что родители не могли справиться с дурными задатками девочки.

Манон — женщина, лишенная каких-либо нравственных устоев, существо со слабо развитым интеллектом и чрезвычайно узким, мещанским кругозором. Поэтому ошибочным является утверждение, будто в этом романе господствует по-

нятие «человеческого максимума»; не говоря уже о том, что гедонизм отнюдь не сопряжен неизбежно с нарушением общепринятых этических норм,— «человеческий максимум» представляется Манон чем-то весьма примитивным — это наряды, ужины, театры, развлечения. Созидательное начало, даже в чисто женской сфере, чуждо Манон. Ее нельзя представить себе матерью семейства, преданной женой, воспитательницей детей, заботливой хозяйкой. Более того, Манон несет в себе активную разрушительную силу: все, что приближается к ней — деградирует. Даже слуги Манон, наблюдающие ее жизнь с де Грие, заражаются дурным примером и обворовывают хозяев, как она обворовывает своих клиентов.

Манон неспособна принести счастье любящему ее человеку: даже на такой твердыне как беззаветная любовь де Грие, она не может построить их благополучия.

Ей чужды и какие-либо родственные чувства. В отличие от де Грие, который постоянно мыслью возвращается к отцу, к брату, к другу детства, Манон никогда не вспоминает о своей семье и не говорит о ней. Нет у нее и подруг. В то время как возле де Грие все время, если не физически, то духовно, присутствует его друг Тиберж, она — совершенно одинока. Для дружбы с ней нет почвы.

Следует заметить, что в повести Прево все положительные персонажи появляются со стороны де Грие (его отец, брат, Тиберж, господин де Т...,— вплоть до тюремщика из Приюта), а все отрицательные — со стороны Манон (ее брат,

сменяющие друг друга клиенты). Манон как бы притягивает к себе все порочное. Знаменательно, что все «поклонники» Манон, изображенные в повести, приходят к ней только из низменных побуждений; у них нет оснований сомневаться в ее доступности. И нет среди них ни одного, который питал бы к ней искреннее чувство. Последнее обстоятельство — отсутствие у де Грие достойного соперника — лишает убедительности попытку некоторых критиков противопоставить у Манон «физические измены» — «духовной верности».

Правда, в Америке поведение Манон менее предосудительно, чем на родине. Но вряд ли можно видеть в этом следствие раскаяния или естественную эволюцию характера. Путешествие в Америку в ту эпоху — длительный переезд в повозке по Франции, двухмесячное плавание на парусном судне, суровые условия жизни в Новом Свете, унизительное положение арестантов, всевозможные лишения — все это не могло не подорвать душевные и физические силы Манон. В Америку она прибыла уже другою женщиной — измученной, обессиленной, отчаявшейся, утратившей прежнюю беспечность и легкомыслие.

Повесть Прево отличается редкостной тщательностью в описании бытовых черт. Действие происходит в эпоху Регентства (1715—1723), когда нравы французского общества отличались крайней вольностью. В последние годы долгого царствования Людовика XIV при дворе царил дух суровости и ханжества, который сказывался на всем укладе жизни. После смерти Людовика XIV, пережившего своего сына и внука, престол уна-

следовал его правнук, малолетний Людовик XV, а фактически правителем сделался регент Филипп Орлеанский. При жизнерадостном и легкомысленном регенте во Франции сразу же началась реакция на «постный» дух, царивший при престарелом короле. Французское общество вздохнуло свободнее и дало волю жажде жизни, веселья, удовольствий.

Аббат Прево с исключительной точностью воспроизвел в своей повести многие бытовые черточки того времени. Историки эпохи Регентства в один голос утверждают, что такие подробности как порядок отправки ссыльных в Америку, местоположение и нравы игорных домов, порядки, существовавшие в полиции, в тюрьмах, в харчевнях и т. п.— словом, что все мелкие подробности соответствуют действительности. Автор не позволяет себе ни малейшего отступления от того, чему он сам был свидетелем. Картина тогдашней жизни, воспроизведенная им, безупречно правдива.

Но это не значит, однако, что конфликт, изображенный Прево, характерен лишь для данной эпохи, потому что препятствия к счастью де Грие и Манон заключаются не столько в социальных порядках эпохи Регентства, сколько в самом характере Манон.

Литература восемнадцатого века изобилует произведениями, в которых любящие друг друга молодые люди встречают на своем пути препятствие, основанное на аристократических или буржуазных предрассудках. Вспомним хотя бы «Новую Элоизу», где счастье Жюли и Сен-Пре

рушится только от того, что Сен-Пре — плебей. В основе трагедии кавалера де Грие лежат совсем иные причины, и ответственность за нее ни в коем случае не может быть возложена на его окружение, в частности, на его отца. Отец де Грие восстает против брака сына с Манон не потому, что она из простой семьи, а потому, что она, как существо морально ущербное, не может дать счастья его сыну. Отец де Грие — человек опытный в жизни, умеющий разбираться в людях, и история бегства Манон с его сыном, с которым она едва успела познакомиться, обстоятельства, при которых состоялось это знакомство, и, быть может, особенно — предательство Манон, которая выдала своего возлюбленного, как только поняла, что у него нет денег на ее содержание — все эти факты давали отцу де Грие полное представление о Манон и все основания противиться этому браку. Нельзя вообразить не только в годы Регентства, но и в любую другую эпоху родителей, которые одобрили бы намерение семнадцатилетнего сына связать свою судьбу с публичной женщиной, воровкой и аферисткой.

Такую девушку, как Манон, не могла бы принять ни аристократическая, ни буржуазная, ни крестьянская семья. Порочность Манон вызвана не нищетой, а отсутствием каких-либо нравственных устоев. В повести нет даже намека на то, что кто-то соблазнил и развратил ее. Порочность Манон лежит в самой основе ее натуры. Будь она женщиной из знатной, богатой среды — она была бы так же безнравственна, только распущенность ее приняла бы другую форму.

Искать оправдания Манон и смягчать, затушевывать ее глубокую порочность значит умалять противоречивость, своеобразие и значительность этого образа и, следовательно, недооценивать психологическую проницательность и литературное мастерство писателя.

Старший друг де Грие — Тиберж изображен автором как образцовый, преданный друг. Давно замечено, что положительные персонажи, особенно в литературе XVIII века, всегда менее колоритны, всегда «скучнее» отрицательных. Но благоразумие и неуклонная последовательность поведения Тибержа отнюдь не делает его образ тусклым и пресным. Тиберж непреклонен в своих убеждениях, но в то же время снисходителен к де Грие, он суров, но в то же время человечен. Будь он всего лишь черствым, ограниченным педантом, готовым только на скучные нравоучения, де Грие так не ценил бы его. Тиберж — истинный, великодушный друг, никогда не отступающийся от своего слабовольного товарища. Преданность его выражается многообразно: и в спорах, в заклинаниях образумиться и вернуться на путь чести и труда, и в готовности служить посредником в переговорах, которые могут быть полезны де Грие, и в материальной помощи; его преданность доходит до героизма — ради спасения друга он самоотверженно бросается вслед за ним в далекую Америку, а путешествие это занимало в тогдашних условиях несколько месяцев и было сопряжено с большими трудностями и риском.

И де Грие высоко ценит дружбу Тибержа; он

уверен, что ее не в силах сломить никакие испытания. Тиберж — единственный человек, с которым де Грие может быть вполне откровенным, и именно в спорах с ним он пытается разобраться в своих переживаниях и найти ответ на мучащие его вопросы. В этих спорах друзья придерживаются глубоко различных точек зрения, но это не мешает им понимать друг друга (особенно Тибержу понимать де Грие). Рассуждения Тибержа совершенно неприемлемы для де Грие, потому что содержат в себе не только осуждение его образа действий, но и полное отрицание его иллюзорного счастья. И все же не кому другому как Тибержу открывает кавалер свое сердце: он знает, что встретит у него не только порицание, но и сочувствие, понимание и поддержку.

Заметим попутно, что кавалер никогда не делает даже попытки поговорить с Манон на темы, которые он затрагивает в спорах с Тибержем.

До встречи с Манон де Грие, по-видимому, вполне разделял воззрения Тибержа; на этой общности убеждений и основана их дружба и уважение. Расхождение де Грие с Тибержем — явление временное и вполне вероятно, что как только прекратится действие силы, разъединившей их, их воззрения, если и не совсем совпадут вновь, то во всяком случае значительно сблизятся. По остроумному замечанию Арсена Уссэ, Тиберж — это совесть кавалера де Грие.

Литературное мастерство, с каким написана «История кавалера де Грие и Манон Леско», ставит эту небольшую повесть в один ряд с вели-

чайшими шедеврами не только французской, но и мировой литературы. Стиль ее отличается подкупающей простотой и гармоничностью; язык — точный, ясный и плавный — не уступает лучшим образцам французской прозы эпохи классицизма и просвещения; рассказ де Грие о его бедствиях и страданиях подкупает своей искренностью, он свободен от аффектации, напыщенности, преувеличений, но за внешней сдержанностью все время чувствуется клокочущая страсть.

Так же совершенна повесть и в отношении композиции — автор сразу вводит читателя в ход событий, и наше внимание не ослабевает до последней строки [26].

Но основная заслуга аббата Прево, конечно, в создании двух поистине бессмертных образов.

Кавалер де Грие — образец беззаветной любви, самоотверженности и всепрощения. Автор с такой убедительностью рисует нам мучительные и сложные переживания героя, что мы прощаем ему все его падения и продолжаем верить в его благородство и нравственную чистоту.

Образу Манон нет равного по художественному совершенству во всей мировой литературе. Эту пустую, бессердечную, ограниченную и распущенную женщину автору удалось наделить таким покоряющим обаянием, что мы забываем о ее недостатках и готовы восхищаться ею не менее

---

[26] Интересный стилистический анализ повести дан в работе Родье (R o d d i e r. Prévost. L'homme et l'œuvre. P., 1955). См. также Е. Э т к и н д. Семинарий по французской стилистике. Ч. I: Проза. Л., 1960.

самого де Грие. Арсен Уссэ остроумно замечает, что сколько бы ни было у Манон любовников — все это ничто в сравнении с теми толпами вздыхателей, которых приводит к ее ногам аббат Прево.

И действительно, по прошествии двух столетий Манон все так же пленительна, со страниц книги все так же доносится ее задорный смех, и все так же влечет нас ее лукавый, загадочный взгляд.

Е. Г.

БИБЛИОГРАФИЯ РУССКИХ ПЕРЕВОДОВ «ИСТОРИИ КАВАЛЕРА ДЕ ГРИЕ И МАНОН ЛЕСКО» *

Прево д'Экзиль А. Ф. Приключения маркиза Г., или Жизнь благородного человека, оставившего свет. Пер. И. Елагина, т. 7—8: История Кавалера де Грие и Маноны Леско. М., Универ. тип. у Окорокова, 1790. 2 т.

То же. 2 тиснение. 1793.

Прево. История Маши Леско и Кавалера Де-Грие. СПб., 1859.— Приложение к журналу «Библиотека для чтения», 1859, № 1.

История Маноны Леско и Кавалера де Грие. Пер. Д. В. Аверкиева.— «Вестник иностранной литературы», 1891, № 6.

Прево. История Манон Леско и Кавалера де Грие. Пер. Д. В. Аверкиева. СПб., 1892 («Новая библиотека Суворина»).

Прево. История Манон Леско и Кавалера де Грие. Пер. И. Б. Мандельштама. Л., изд-во «Сеятель» [1926].

Прево. Манон Леско. Пер. М. А. Петровского. Предисловие А. К. Виноградова. Илл. В. Конашевича. М.— Л., «Academia», 1932.

* Составлена Всесоюзной государственной библиотекой иностранной литературы.

Прево. Манон Леско. Пер. М. А. Петровского. Очерк А. Франса: «Приключения аббата Прево». Вступ. статья В. Р. Гриба. Илл. В. М. Конашевича. М.—Л., «Academia», 1936.

Прево А.-Ф. Манон Леско. Пер. М. А. Петровского. Под ред. Б. А. Кржевского. Л., Гослитиздат, 1951.

Прево. Манон Леско. Пер. Б. А. Кржевского. Илл. К. И. Рудакова. М.— Л., Гослитиздат, 1951.

Прево. Манон Леско. Пер. Б. А. Кржевского. М., Гослитиздат, 1957.

Мятежный С. Манон Леско. Мелодрама в 10 карт. (Инсценировка). М., Изд. управления по охране авторских прав, 1940.

Прево А.-Ф. История шевалье де Грие и Манон Леско. Предисл. Ю. Б. Виппера. Комм. И. Н. Пожаровой. М., Изд. лит-ры на иностр. языках, 1962. Текст на франц. яз. Предисл. и комм. на русск. яз.

* * *

Как видно из приведенной выше библиографии, повесть аббата Прево всегда пользовалась у русского читателя широкой популярностью. Одним из лучших переводов является предлагаемый в нашем издании перевод М. А. Петровского.

Михаил Александрович Петровский (1887—1940) — профессор Московского университета, автор ряда работ по истории западноевропейской литературы и по теории прозы. Перу М. А. Петровского принадлежат также переводы произведений Мериме, Гофмана, д'Оревильи, Арнима, Бальзака, Флобера и других. Из теоретических работ М. А. Петровского следует отметить: «Композиция новеллы Мопассана» (ж. «Начала», 1921, № 1), «Морфология пушкинского «Выстрела»» (Сб. «Проблемы поэтики». М., 1924), «Морфология новеллы» (Сб. «Ars poetica». М., ГАХН, 1927) и др.

Для настоящего издания перевод М. А. Петровского заново сверен с оригинальным текстом 1753 года, переизданным издательством братьев Глади (Glady frères, P., 1875 г.).

* * *

Для выяснения эволюции искусства художественного перевода на протяжении почти двух столетий небезынтересно привести фрагмент подлинного текста и образцы его переводов, сделанных различными авторами.

Текст подлинника

Nous nous assîmes l'un près de l'autre. Je pris ses mains dans les miennes. «Ah! Manon»,— lui dis-je en la regardant d'un œil triste,— «je ne m'étais pas attendu à la noire trahison dont vous avez payé mon Amour. Il vous était bien facile de tromper un cœur dont vous étiez la Souveraine absolue, et qui mettait toute sa félicité à vous plaire et à vous obéir. Dites-moi maintenant si vous en avez trouvé d'aussi tendres et d'aussi soumis? Non, non, la Nature n'en fait guères de la même trempe que le mien. Dites-moi, du moins, si vous l'avez quelquefois regretté. Quel fond dois-je faire sur ce retour de bonté, qui vous ramène aujourd'hui pour le consoler? Je ne vois que trop que vous êtes plus charmante que jamais; mais, au nom de toutes les peines que j'ai souffert pour vous! belle Manon, dites-moi si vous serez plus fidèle?»

Перевод И. Елагина (1790 г.)

Мы сели один возле другого и я, взяв ее руки, сказал ей, посмотревши на нее печально: «Ах, Манон! Я не ожидал никогда от тебя столь подлой измены, которою заплатила ты мне за любовь мою. Тебе легко было обмануть такое сердце, которого ты была совершенною обладательницею, и которое полагало все свое благополучие в том, чтоб тебе нравиться и повиноваться; скажи же мне теперь, нашла ли ты столь нежного и столь покорного, как я?.. Нет, нет! Натура не производила мне подобного; по крайней мере скажи мне, сожалела ли ты когда-нибудь о мне, и что должен я думать о сем возвращении твоей благосклонности, которая тебя ныне приводит к моему утешению? Я очень

вижу, что ты теперь гораздо прелестнее прежнего; заклинаю тебя, прекрасная Манона, всеми претерпенными мною для тебя мучениями, скажи мне, будешь ли ты впредь вернее?»

Перевод в издании «Библиотеки для чтения» (1859 г.)

Мы сели рядом. Я взял ее руки. «Ах! Маша,— сказал я, смотря на нее печально,— я не был приготовлен к черной измене, которою ты отплатила мне за мою любовь. Тебе легко было обмануть сердце, которым ты всецело управляла и которого счастье состояло в том, чтобы тебе нравиться и повиноваться. Сознайся мне теперь — находила ли ты столь нежные и покорные сердца? Нет, нет, природа не создает подобных моему сердец. Скажи мне, по крайней мере, сожалела ли ты о нем иногда? Что я должен думать о причине, которая тебя сегодня привела, чтобы утешить мое сердце? Я только вижу то, что ты еще прекраснее, но, во имя всех страданий, которые я перенес из-за тебя, прелестная Маша, скажи мне, останешься ли ты теперь мне верною?»

Перевод Д. В. Аверкиева (1892 г.)

Мы сели друг против друга. Я взял ее за руки.

— Ах, Манон! — сказал я, глядя на нее печальным взором,— я не ждал, что вы такой черной изменой заплатите мне за любовь. Вам легко было обмануть сердце, которого вы были полной владычицей и все счастье которого состояло в том, чтобы нравиться и повиноваться вам. Скажите же сами, разве вы нашли сердце столь же нежное и покорное? Нет, нет! природа не создавала сердца такого закона, как у меня. Скажите мне, по крайней мере, жалели вы когда-нибудь о нем? Какое доверие в утешение ему могу я питать к тому возврату нежности, который сегодня привел вас сюда? Я слишком вижу, что вы стали еще прелестнее, чем были; во имя всех мучений, которые я перенес из-за вас, прекрасная Манон, скажите же мне, будете ли вы впредь вернее?

Перевод И. Б. Мандельштама (1926 г.)

Мы сели рядом. Я взял ее руки в свои.

— Ах, Манон,— сказал я, грустно глядя на нее,— не ждал я той черной измены, которою ты отплатила мне за любовь. Легко тебе было обмануть сердце, над которым ты утвердила свое полное господство и которое видело все свое блаженство в том, чтобы угождать и повиноваться тебе. Скажи же мне теперь, нашла ли ты другие сердца, столь же нежные и покорные. О, нет, природа не создала второго сердца того же закала. Скажи мне, по крайней мере, тосковала ли ты когда-нибудь по нем. Как объяснить мне добрый порыв, побудивший тебя прийти сегодня, чтобы утешить его? Я вижу, что ты стала еще прелестнее, чем была, но во имя всех страданий, которые я вынес из-за тебя, скажи мне, прекрасная Манон, будешь ли ты отныне вернее?

Перевод М. А. Петровского (1932 г.)

Мы сели друг подле друга. Я взял ее руки в свои. «Ах, Манон,— произнес я, печально смотря на нее,— не ожидал я той черной измены, которой отплатили вы за мою любовь. Вам легко было обмануть сердце, коего были вы полной властительницей и которое все свое счастье полагало в угождении и в послушании вам. Скажите же теперь, нашли ли вы другое сердце, столь же нежное, столь же преданное. Нет, нет, природа почти не творит сердец моего закала. Скажите, по крайней мере, сожалели ли вы когда-нибудь о нем? Могу ли я быть уверенным в том добром чувстве, что побуждает вас сегодня утешать его? Я слишком хорошо вижу, что вы пленительнее, чем когда-либо; но, во имя всех мук, кои я претерпел за вас, прекрасная Манон, скажите мне, останетесь ли вы верны мне теперь?»

Перевод Б. А. Кржевского (1951 г.)

Мы сели рядом. Я взял ее руки в свои.

— О Манон,— сказал я, глядя на нее печальными глазами,— менее всего на свете я мог ожидать той чер-

ной измены, которой ты заплатила за мою любовь. Тебе было очень нетрудно обмануть сердце, единственной владычицей которого была ты и все счастье которого заключалось в том, чтобы подчиняться тебе и тебе нравиться. Скажи мне теперь, встречались ли тебе сердца, столь же нежные и покорные? О нет, нет; природа не создает больше сердец такого закала, как мое. Но скажи мне по крайней мере, не жалела ли ты когда-нибудь о нем? Какую веру должен я придавать возврату нежности, который привел тебя сюда мне в утешение? Я слишком хорошо вижу, что ты очаровательна, как никогда, но во имя тех мук, которые я вытерпел из-за тебя, прекрасная Манон, скажи мне, будешь ли ты более верной?

ПРИМЕЧАНИЯ

Предуведомление автора

[1] *Хотя я мог бы включить историю приключений кавалера де Грие в мои «Записки»...* — «История кавалера де Грие и Манон Леско» впервые вышла в свет в виде VII тома «Записок знатного человека, удалившегося от света». Аббат Прево приписывает «Записки» маркизу, путешествующему по разным странам под именем господина де Рокенкура в сопровождении своего воспитанника.

Первая встреча маркиза с кавалером де Грие произошла перед поездкой маркиза в Испанию и описание этой встречи должно было бы занять место в III томе «Записок». Вторая их встреча, когда де Грие поведал маркизу свою историю, имела место два года спустя.

В начальных строках «Предуведомления» аббат Прево, говоря от имени мнимого автора «Записок», поясняет читателю, по каким соображениям он не включил «Историю кавалера де Грие и Манон Леско» в то место

«Записок», где ей надлежало бы быть, а предпочел напечатать ее отдельно, как самостоятельный рассказ, в виде добавления к «Запискам».

[2] Гораций. Послание к Пизонам, 43 сл.

[3] *...развлекая, наставлять читателя...* — одно из основных положений поэтики классицизма.

[4] *Гораций и Буало называют...* — Имеются в виду следующие строки Горация («Сатиры», II, VI, 72—76):

Наш разговор не о том, хорошо ли и ловко ли пляшет
Лепос,— но то, что нужнее, что вредно не знать человеку.
Судим: богатство ли делает счáстливым иль добродетель;
Выгоды или наклонности к дружбе вернее приводят;
Или в чем свойство добра и в чем высочайшее благо?
(*Перевод М. Дмитриева*),

а также стихи 153—158 VI послания Буало, где поэт говорит: «Отрешившись от треволнений, потолкуем, Ламуаньон, о добродетелях, которые занимают твой ум; обсудим какие блага истинны и какие — ложны и должен ли честный человек страдать от своих недостатков; побеседуем о том, что скорее ведет нас к славе — обширные знания или незыблемая добродетель».

[5] *Произведение в целом представляет собою нравственный трактат.*— По этому поводу Анатоль Франс замечает: «Создав как нельзя более легко это чудо искусства, Прево написал две страницы назидательного содержания, чтобы предпослать их роману. Это как бы шаль, наброшенная на плечи мадемуазель Манон. В этом маленьком отрывке он ставит себе в заслугу то, что написал сочинение, долженствующее пойти на пользу нравам. Не спорю, вы правы. Но эти прекрасные мысли пришли вам на ум, дорогой аббат, лишь после того, как была написана книга. Пока вы водили пером, вас вдохновляли воспоминания о ваших первых увлечениях,— и только» (А. Франс. Приключения аббата Прево. *Перевод Н. Д. Эфрос*).

[6] *...Я в мои годы...* — Знатному человеку, которому Прево приписывает рассказ о его жизни, во время вторичной встречи с де Грие было 58 лет.

[7] Примечание впервые появилось в издании 1753 года.

[8] *...очистить его от... ошибок* — Поправки, сделанные автором, для этого издании, довольно многочислены. Они могут быть разбиты на следующие группы:

а) исправлении чисто стилистические; автор заменяет повторяющиеся слова и выражения, стремится к еще большей ясности языка, его прозрачности, плавности и благозвучию.

б) поправки, имеющие целью модернизацию языка; со времени первого издания повести прошло почти четверть века и за эти годы одни слова вышли из употребления, другие — появились им на смену. Так, старинные «auberge, cabaret» (постоялый двор) Прево теперь заменяет словом «hôtellerie».

в) поправки, вызванные тем обстоятельством, что Прево примирился с бенедиктинцами. В новом издании он стремится ослабить в де Грие черты, свойственные ему как воспитаннику духовной семинарии. Религиозность юноши не подчеркивается, всему его облику придан более светский характер.

г) исправления, сделанные в угоду «блюстителей нравственности», которые упрекали автора в грубости и цинизме. Например, фраза Манон: «Ему не удастся похвастаться, что он провел со мною ночь» в новой редакции читается так: «Ему не удастся похвастаться, что я позволила ему какие-нибудь вольности». Фраза Леско: «провести ночь с такой девушкой как Манон...» изменена в том же духе: «добиться благосклонности от такой девушки...»

Нельзя, однако, не отметить, что такого рода исправления в некоторой степени ослабляют колоритность героев.

д) изменения, подсказанные соображениями социального порядка. Так, в издании 1731 года говорилось, что Манон «не из благородной семьи»; в новом издании сказано определеннее: «из заурядной семьи».

Во второй части повести исправлений значительно меньше, чем в первой.

[9] *...внесено несколько добавлений...* — Единственное значительное добавление — эпизод с итальянским князем (в начале второй части).

Часть первая

[10] *... за полгода до моего отъезда в Испанию...* — В III томе «Записок знатного человека» имеются сведения, позволяющие точно определить время первой встречи автора «Записок» с де Грие: она произошла в 1715 году.

[11] *...похлопотать в нормандском парламенте.*— В дореволюционной Франции парламентами назывались суды. Всего насчитывалось двенадцать провинциальных парламентов; они были подчинены парижскому. На парламенты были возложены также и некоторые административные функции.

[12] *Эвре* — городок между Парижем и Руаном. В 1726—1727 годах Прево выступал в Эвре в качестве проповедника.

[13] *...дюжина веселых девиц, которых я ...сопровождаю...*— Начиная с 1699 года французское правительство стало принимать решительные меры, чтобы заселить территорию на берегу Мексиканского залива, занятую Францией и названную в честь Людовика XIV Луизианой. Помимо того, что в колонию усиленно вербовали добровольцев, туда в принудительном порядке ссылали девушек и юношей дурного поведения, о чем говорят многочисленные документы и свидетельства очевидцев.

Вот одно из таких описаний: «Утром восемнадцатого сентября 1719 года в церкви Сен-Мартен-де-Шан, в Париже, было обвенчано сто восемьдесят девушек и столько же юношей, взятых из тюрьмы этого прихода, равно как и из других парижских тюрем; несчастным девушкам была предоставлена возможность выбрать себе мужей среди бо́льшего числа юношей. После совершения обряда, их сковали попарно, мужа и жену, и отправили в дорогу в сопровождении трех тележек с поклажей; тележки предназначаются для того, чтобы дать людям время от времени отдохнуть, а также на тот случай если кто-нибудь заболеет; партию конвоируют до Ларошели двадцать солдат, а оттуда она будет направлена на Миссисипи — в надежде на лучшее будущее».

Однако колониальные власти вскоре стали возражать против присылки в колонии публичных женщин. Из следующего сообщения явствует, что заинтересованные учреждения обратились к самому королю: «Король соизволил разрешить «Западной Компании» извлекать молодых людей обоего пола, воспитываемых в приютах Бисетр, Питье, Главном Приюте и Воспитательном Доме, а также девушек и юношей, находящихся там в заключении, ибо Компания сообщила, что распутные девушки, переселенные на Миссисипи и в другие французские колонии, причинили там великие беспорядки своим развратом и дурными болезнями, что нанесло большой ущерб торговле и делам Компании. Уверяют, будто одни только парижские приюты могут дать четыре тысячи человек» («Журнал Регентства» Жана Бюва; цит. по предисловию de Lescure к «Манон Леско», изд. Quantin, 1879 г.).

[14] ...*Мы взяли ее из Приюта*... Приют Сальпетриер был учрежден в 1656 году как отделение Главного Приюта (Hôpital général) и предназначался для нищих и умалишенных, а также служил местом заключения публичных женщин.

[15] *Прошло около двух лет*... В «Записках» указывается точная дата выезда маркиза и его ученика из Англии: 24 июня 1716 года.

[16] ...*вот его повесть*.— Как «Предуведомление автора», так и первые страницы романа приписываются аббатом Прево маркизу, мнимому автору «Записок Знатного человека». В дальнейшем маркиз приводит рассказ кавалера де Грие.

[17] *Я закончил публичные испытания*... — Публичные испытания проводились в семинариях по окончании курса.

[18] *Мальтийский орден* — древнейший в Европе духовно-рыцарский орден, основанный в 1099 году, во время крестовых походов; члены его делились на три разряда — на военных, духовных и служителей. В первый входили лица знатного происхождения; они носили титул «кавалер» (франц. chevalier — буквально «рыцарь»).

[19] *Академия* — учебное заведение, манеж, где юноши из знатных семей обучались фехтованию, верховой езде и другим видам спорта.

[20] *...восторга, на несколько времени лишившего меня дара речи.*— Прево одним из первых во французской литературе стал отмечать физические проявления эмоций; его примеру последовали многие современники, в частности, Дидро и Руссо.

[21] *...снаряжу почтовую карету...* Почтовые кареты, введенные в обиход в 1664 году, были в те времена самым скорым способом передвижения.

[22] *Экю* — старинная французская серебряная монета, равная трем ливрам или франкам.

[23] *...при помощи уловки.* Имеются в виду уловки, которые дают возможность лгать, придавая своим словам видимость правды. Например, прибегая к двусмысленности, можно толкнуть собеседника на одно понимание сказанного, в то время как сам говорящий придает своим словам иной смысл. Другой вид уловки — мысленно или шепотом прибавить к сказанному слово, совершенно меняющее смысл фразы. Иезуиты допускали такого рода уловки, если они применяются с благими намерениями. Паскаль разоблачает этот вид лжи в своих «Письмах к провинциалу» (письмо IX).

[24] *Сен-Дени* — городок в 8 км к северу от Парижа; в старину едущие в столицу здесь в последний раз сменяли почтовых лошадей.

[25] *...на улице В.*— подразумевается улица Вивьен, поблизости от тогдашней биржи; здесь стояли особняки крупнейших финансистов; в описываемое в романе время Джон Ло основал на этой улице свой знаменитый банк, потерпевший крах в 1720 году.

[26] *Пистоль* — монета, равная десяти ливрам (франкам).

[27] *Какая жалость, что я записал тебя в Мальтийский орден...*— Отец де Грие намекает на то, что рыцарь мальтийского ордена обязан дать обет безбрачия.

[28] *Ты умеешь добиться быстрой победы...*— цитата из Тита Ливия (XXII, I).

[29] *...упал без чувств и без сознания* — ср. прим. 20

[30] *...комментарий к четвертой книге «Энеиды».—* В этой книге повествуется о трагической любви Энея и Дидоны.

[31] *Я уже заранее составил себе план одинокой и мирной жизни.—* Мечта о тихой жизни в деревенском уединении была дорога и самому Прево и многим его современникам; она получила особенно яркое выражение у Руссо (ср., например, конец IV книги «Эмиля», IV книгу «Исповеди»).

Поселившись в 1746 году в деревне, Прево писал своему другу, что в этой обстановке он — счастливейший из смертных. «Рано или поздно люди разумные начинают любить уединение» — говорит он в этом письме (H. Harrisse. L'abbé Prévost. P., 1896, p. 359).

[32] *Бенефиций* — духовная должность, дававшая право на получение дохода с недвижимого имущества, принадлежащего церкви.

[33] *...почему он теряет всякую способность к сопротивлению...* — Говоря о том, что не всем дано преодолевать свои страсти, де Грие высказывается в духе янсенизма. Голландский богослов Янсений (1585—1638) и его последователи отрицают свободу воли и ставят «спасение» человека исключительно в зависимость от «божественной благодати»; по учению Янсения человек, лишенный помощи свыше, бессилен в борьбе со злом. Католическая церковь, главным образом в лице иезуитов, вела ожесточенную борьбу с янсенизмом, продолжавшуюся до середины XVIII века.

[34] *Наступило время публичного испытания...* Начиная со средних веков вплоть до революции 1789 года учащиеся Богословского Училища (Сорбонны) подвергались публичным испытаниям по окончании определенных этапов обучения. Испытания начинались в 6 ч. утра и могли длиться до 6 ч. вечера. Испытуемый должен был защищать то или иное положение в споре с двадцатью докторами, которые сменяли друг друга.

[35] *Все, что говорится в семинарии о свободе воли — пустая химера.—* См. прим. 33.

[36] *Шайо* — в те времена деревушка под Парижем, в XVII— XVIII веках была одним из любимых мест

прогулок парижан. В 1787 году включена в черту города.

[37] *«Опера»* — театр, основанный в Париже в 1672 году и первоначально называвшийся «Королевской Академией Музыки». Театр играл большую роль в жизни светского общества; в помещении театра устраивались также и балы, которые начинались в 11 часов вечера и продолжались до 6 часов утра.

[38] *...служивший в гвардии.*— Имеется в виду отряд кавалерии, предназначавшийся для охраны короля.

Первоначально в отряд принимались только молодые люди из дворянских семей, но в начале XVIII века в гвардию стали принимать и лиц недворянского происхождения.

[39] *Небу угодно было внушить мне мысль...*— Де Грие по привычке все еще выражается как воспитанник духовной семинарии.

[40] *...члены Сообщества...*— присяжные шулера, действовавшие согласованно и делившие между собою как выигрыши, так и проигрыши.

[41] *Сад Пале-Рояля* — в то время излюбленное место прогулок великосветского общества.

[42] *...слезы его оросили мое лицо.*— Эти строки — одно из самых ранних проявлений сентиментализма во французской литературе.

[43] *Трансильванский дворец.*— Незадолго до описываемых событий дворец был арендован трансильванским князем Ференцем Ракоши, который устроил в нем игорный дом.

[44] *...избавляясь от позора.*— Де Грие мирится с тем, что Манон намерена ограбить господина Г... М..., однако жить на счет девушки, состоящей на содержании, все же представляется ему невозможным.

[45] *...мастерить часовенки.*— В разговоре с Г... М... Леско прибегает к двусмысленностям. Слово «chapelle» значит по-французски «часовня», «компания, шайка», «крутой поворот корабля»; поэтому фразу можно понять по-разному: «Де Грие любит забавляться детской игрой в часовенку», «он — участник шайки», «ему знакомы крутые повороты в жизни»,

Так же двусмысленны и слова де Грие о его близости с «сестрой».

[46] *Сен-Лазар* — мужская исправительная тюрьма, состоявшая в ведении монахов общины св. Лазаря. Пребывание в этой тюрьме считалось неизгладимым позором.

[47] *...место, само название которого приводит меня в ужас.*— В первой редакции повести де Грие сразу же называл тюрьму, в которую заключили его возлюбленную; в редакции 1753 года автор вкладывает это страшное слово в уста де Грие несколькими страницами позже — ради придания эпизоду большей драматичности.

[48] *...одной единственной грубости.*— Де Грие подразумевает телесное наказание, применявшееся в тюрьме Сен-Лазар.

[49] *...счастье наше состоит в наслаждении...* В «Рассуждении о любовной страсти» (1653) Паскаль говорит: «Человек создан для наслаждения; он это чувствует и в других доказательствах тут надобности нет».

[50] *...слышу речи одного из наших янсенистов.*— Тиберж упрекает де Грие в том, что он рассуждает как янсенист когда говорит, что не в силах действовать иначе (т. е. что воля его не свободна).

[51] *...двадцать палок этому негодяю!* — Леско издевается над возницей, предлагая ему вместо двадцати ливров (составляющих луидор) двадцать палочных ударов.

[52] *Кур-ля-Рэн* — бульвар, созданный в 1616 году по желанию королевы-регентши Марии Медичи; в XVII и в начале XVIII века — место прогулок великосветского общества.

Часть вторая

[53] Манон и де Грие пародируют диалог Ифигении и Эрифилы из трагедии Расина «Ифигения» (II, 5).

Эрифила старается убедить Ифигению, что она не влюблена в Ахилла, что она не может его любить уже хотя бы потому, что он разорил ее родную страну и обагрил свои руки кровью ее соотечественников.

Ифигения, ревнующая Эрифилу к своему жениху, отвечает, что все эти жестокости явились лишь стрелами, запечатлевшими образ Ахилла в ее сердце.

[54] *...около семи часов.*— В то время театральные представления начинались в пять часов вечера и продолжались часов до девяти.

[55] *Шатле.*— Большой и Малый Шатле — замки-крепости, сооруженные в средние века. Большой Шатле служил местопребыванием главного парижского судьи (прево) и частично тюрьмой. Малый Шатле тоже был тюрьмой.

[56] *...заплатил привратнику вперед за месячное содержание.*— Заключенные имели право вносить деньги за улучшенное содержание.

[57] *Гревская площадь* — место, где с 1310 по 1832 гг. казнили преступников.

[58] *...у меня были предшественники.* — Эти слова де Грие дали современникам Прево повод для множества предположений — кто именно имеется здесь в виду.

[59] *...погрузить на корабль в Ларошели.*— Ссылаемых ва Миссисипи отправляли преимущественно либо из Ларошели, либо из Рошфора.

[60] *...они живут по законам природы...* — В XVIII веке господствовало убеждение, что дикари — существа добродетельные, могущие служить примером для цивилизованных европейцев.

[61] *...когда я ожидал почты...* — Почтовые курьеры отправлялись в путь и прибывали к месту назначения в определенные дни.

[62] *Меня без затруднений приняли на корабль.* — Действительно, тогда охотно принимали на корабль всякого, кто желал поселиться в колониях.

[63] *...страна не представила для нас ничего приятного...* — Прево, всегда очень точный даже в мелочах, в описании колонии допускает погрешности: в районе Нового Орлеана берега были болотистые, а не песчаные; город отстоял дальше от берега, чем говорит автор, и не было холма, скрывающего поселение. Зато Прево правильно отмечает, что Новый Орлеан представлял собою тогда всего лишь небольшой поселок, а отнюдь не процветающий город, как его старалась изо-

бразить «Индийская Компания», которая ведала колонизацией и была заинтересована в притоке поселенцев.

[64] *Красивейших он предоставил старшинам, прочих пустил по жребию.*— Здесь Прево правдиво рисует нравы, царившие в колонии; губернатор пользовался неограниченной властью.

[65] *...англичане дадут нам приют в своих поселениях.*— Английские колонии были расположены гораздо дальше от Нового Орлеана, чем думает де Грие, и добраться до них пешком было невозможно.

* * *

На фронтисписе воспроизводится портрет аббата Прево, гравированный де Во (De Vaux) с оригинала Шмидта (J. F. Schmidt).

Иллюстрации художников Паскье (J. J Pasquier) и Гравело (H. Gravelot) заимствованы из французского издания 1753 г

СОДЕРЖАНИЕ

А.-Ф. Прево

История кавалера де Грие и Манон Леско

Утверждено к печати редколлегией Литературные памятники Академии наук СССР

Редактор издательства *О. К. Логинова*
Художник *Н. И. Крылов*
Технические редакторы *Г. А. Астафьева, Е. В. Макуни*
Корректоры *Т. В. Гурьева, Н. Г. Сисекина*

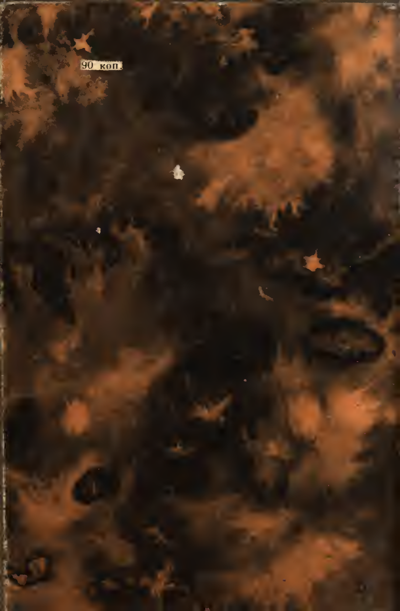
Сдано в набор 19/III 1964 г. Подписано к печати 9/VI 1964 г. Формат 70×90¹/₃₂. Печ. л. 9 + 5 вкл. = 10,53 усл. п. л. Изд. № 91/64. Тип. зак. № 408. Темплан 1964 г. № 423
Тираж 125 000 экз. *Цена: в переплете 1 р., в обложке 90 к.*

Издательство «Наука». Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

2-я типография «Наука». Москва, Г-99, Шубинский пер., 10


90 коп




90 коп.